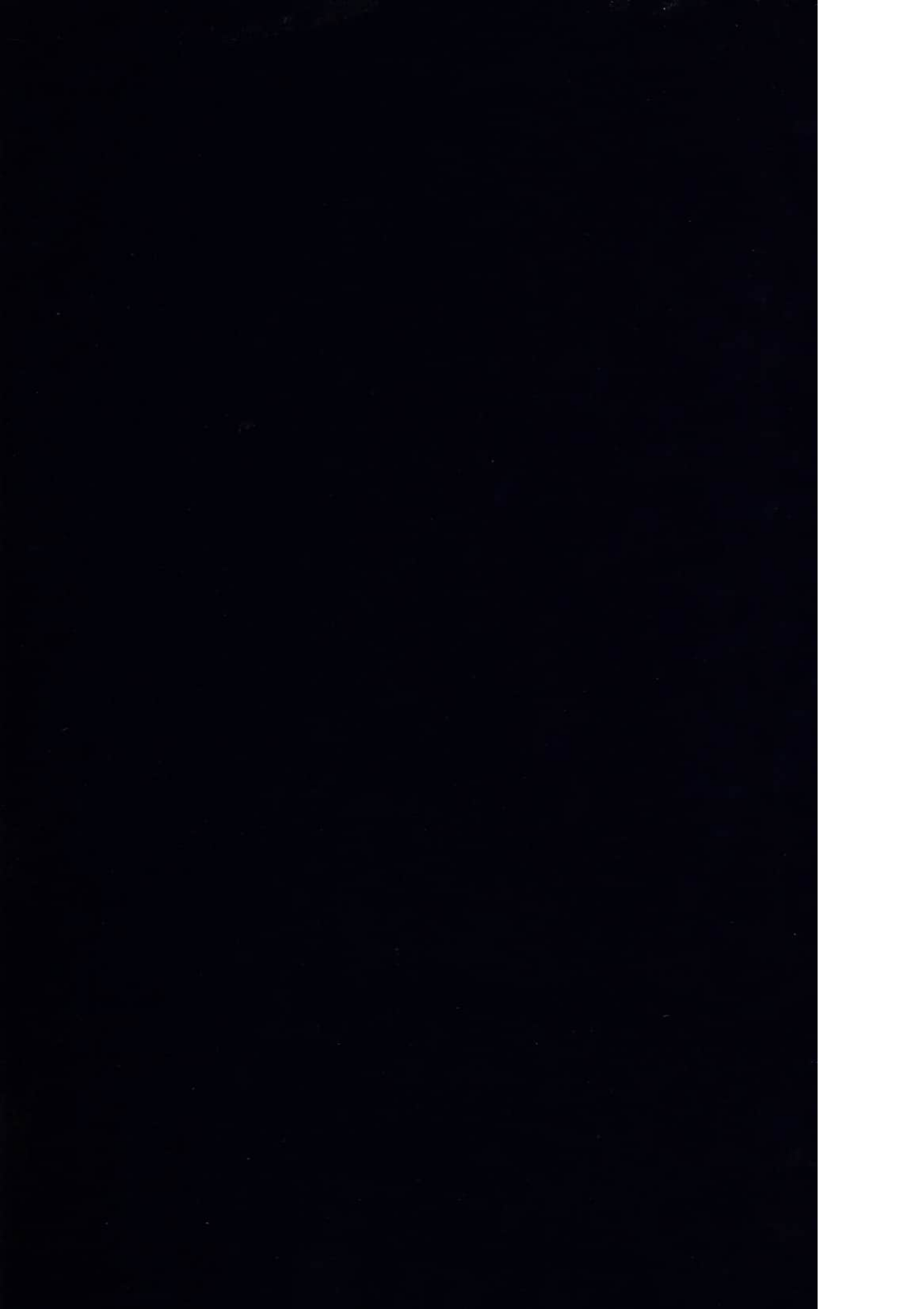


17.619к. 7

Рабочий край

литературный альманах  
1929г.





84/201-1878

18.01.93 322

10/06-95-318

23/596-288

10/1136-288

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Коллич. пред. выдач

2/03-00-10505

21.01.01 Теревеж

3.08.05 11247

23.10.03 16588

10.09.06 45163

12.05.07 18 327 2

9.04.08 1м

17.619K

ТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

**РАБОЧИЙ  
КРАЙ**

1929

КНИГА  
из личной библиотеки  
краеведа

**ЛОГИНОВА**  
**СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА**

Дар Ивановской  
областной научной  
библиотеке

Июнь 1980 г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Кол-ч. пред. выдач

*7/28 8922*  
*№ 3*  
*241292-1878*

8 ТМО Т. 1 м.л.в. 3. 212-78

# „РАБОЧИЙ КРАЙ“

---

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ  
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
В. ЗАЛЕССКОГО, М. МАНУИЛЬСКОГО и Е. ПЕСТУНА

---

ИЗДАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА „РАБОЧИЙ КРАЙ“

94

-- 2010

Кр. 17.6/19

---

Ивановский Обллит № 3302  
Типогр. из-ва „Рабочий Край“  
Ив.-Вознесенск.  
Заказ № 1455. Тираж 3000 экз.  
5 печ. л.

---





## Из истории литературы ткачей

АВ. НОЗДРИН

Литературы ткачей и о ткачах пока мало, но большое будущее у ней должно быть: в природе легкой индустрии, в человеческой, ее созидающей силе, есть элементы поэзии, развитие и оформление которых, надо думать, не за горами.

В книге П. Я. Заволокина „Современные рабоче-крестьянские поэты“ представлены в своих автобиографиях 64 поэта, среди них двое местных: М. Д. Артамонов и И. А. Назаров. Первый, несмотря на его признание о своей работе на фабриках и заводах, стихов о фабрике и заводе не дал, и в своей автобиографии заявляет, что он живет „неизгладимым“ впечатлением от недавней империалистической войны. Не дал их и И. А. Назаров, имеющий большой текстильный стаж, который о себе говорит так: „в течение 8-ми лет я прошел разные ступени работ и хорошо изучил быт-е-жизнь рабочих. Стихи и песни писались с большим жаром, и все, что мной написано, не есть плод фантазии или выдумки, а лишь отзвуки моих переживаний“. Но если в стихах Назарова нет ни выдумки, ни фантазии, то в них нет и настоящего специфического жителя-бытия рабочих, а имеются только общие места „ходатая по делам“ рабочего класса, много сердобольности, и нет совсем воли и энергии ткачей.

В старой русской литературе песен о ткачах почти не было, и у классических наших поэтов, как, например, у Некрасова, о ткаче говорится только в одном случае:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,  
Голод название ему.  
Водит он армии, в море судами  
Правит; в яртели сгоняет людей.  
Ходит за плугом, стоит на плечах,  
Каменотесцев, ткачей!..

В старом городе ивановских ткачей, на конспиративной встрече нового 1896 года поэт Н. И. Махов говорил:

Мы, как члены славной партии,  
Социальной демократии,  
Мы прогресс желаем ей!  
Мы — гроза купцов, царей..  
Мы — враги такого строя,  
Где бездельники царят,  
А рабочих, все создавших,  
Страшным голодом морят..

И пусть поэт, по форме стиха, по современной терминологии был только „первоступенцем“, но по содержанию он стоял уже на своем верном классовом пути.

Махов был не один. Около этого времени писали, и, по обыкновению, нигде не печатались еще двое поэтов, рабочих-одиночек: Веселовский—Прохожий и Трифонов—Берендей. Аудитории их были в граверных мастерских, где они работали, поэтами они были за водкой и за чайком в трактирах и чайных. Их поэтическое наследство оказалось беспризорным, но выморочным совсем его никак нельзя назвать: кой-где еще сохранились их рукописи, слышатся они иногда и в устной передаче, что сейчас было бы очень полезно собрать, как показ рабочего быта, тех мишеней, на которые они в большинстве случаев направляли свои сатирические стрелы.

Кто не знает из старых рабочих, интересующихся литературой, тех шуговых строк, когда Берендей писал о загрязненной красками нашей реке Уводи:

Полубуйся, люд честной,  
Нашей Уводью-рекой!  
Если нужно минералов  
Иль косметики какой,  
Не потрафит вам Чекалов,  
Лишь умойся ее водой.

Стихи Веселовского и Трифонова никогда не писались на общие литературные темы, они были всегда делом только краевой, обличительной мысли, но они со своими читателями были связаны самыми кровными узами, они по-просту, без затей переливали в своих читателей ту желчь, которая у них накоплялась и на своих азиатского письма хозяев, и на их служилую клику, тоже часто довольно породистых баши-бузуков.

Таковыми были первые культурные признаки, как первые проблемски политическая и обличительная рабочая мысль.

„Первыми проблесками“ назывался и первый рукописный журнал, издаваемый в Иванове нелегальным объединением рабочих и учащихся.

Это рабочее детище 1888-1889 годов было тоже до некоторой степени наметкой рабочих новых дней, когда, с одной стороны, крах народнических иллюзий лишил интеллигенцию ее миссионерского, проповеднического голоса, а с другой, рабочий класс взялся за свою новую пролетарскую работу.

Журнал „Первые Проблески“, вышедший всего в двух номерах, легко затерялся в первые же годы своего существования.

В такой же безвестности, несомненно, затеряно не мало и других подобных начинаний, в безвестности, конечно, остались и многие одиночки-писатели. Бескультурие старой России и в особенности ее провинции создавало для этого только одну все мертвящую обстановку.

Одним из зачинателей рабочей литературы, несомненно, является Роман Матвеевич Семенчиков. Хотя он и жил в пору „блистательных гроз пробуждения рабочего движения“, но литературой занимался только тогда, когда ему приходилось шагами измерять тюремные камеры, и за перо братья иногда руками, иссеченными казацкими шашками. Пользуясь работами его биографа А. Н. Рябина, отрывками из тюремных дневников Семенчикова, мы можем смело судить, чем бы он мог быть для пролетарской литературы, если бы он ушел из жизни не так рано и своих буйных сил не сложил в тюремных казематах.

В одном из своих тюремных дневников Семенчиков пишет: „Сегодня исполнилось 6 лет со дня моего первого ареста. Многие считают меня и несчастным... Глупиш... Что было бы со мною, если-б меня не потянули? Ну, дрянной хлопушка какого-нибудь купчишки, красильный

мастер, угнетатель чужих рабочих, дикий, самовольный, быть может, зажиточный мужик, кулак, муж глупой и красивой бабы, и все... Жил-б этой здоровой (не свинской-ли?) жизнью, жрал вдоволь. напи-вался, играл и т. д. Дал бы возможность пьянствовать старому отцу-деспоту... Эх, вы! Птичьи головы! Почетные благоприлизанные небокоптители! Неужели сравню я эту глупую, хотя и сытую жизнь со своей, полной страданий и лишений жизнью!.

Стихов Семенчикова в нашем распоряжении нет, эти слова его дневника не стихотворение в прозе, но они не хуже его. Какой под'ем человеческого духа, какой решительный и безоговорочный подрыв всех мещанских устоев!

Товарищ и соратник Семенчикова Д. Таланов указывает на время, на обстановку их юности: „Рабочая масса была так задушена и темна, что не могла иногда отличать плохого от хорошего, друга от врага, благодаря в особенности стараниям правительства и единственной доходившей до народа лубочной литературы, затуманивающей всякую рождающуюся в народной среде мысль“. Подобные жалобы все-таки были наполовину напрасны: в тюрьму можно было заточить носителя и творца нарождающейся свободной рабочей мысли, но сама мысль всегда оставалась на воле, вдохновители ее сменяли друг друга и облекали ее в обычную революционную классическую форму, в прокламацию, о чем складывались и рабочие уличные песенки:

Шла я улицей одна,  
Прокламацию нагла.  
Не пилоь, не елося,  
Прочитать хотелось.

В большом городе рабочих нет не только рабочей печати, но и никакой другой. Соседние города: Владимир, Ярославль, Кострома своими газетами маячили как светильники, и на их огонь потянулись первые наши поэты, очеркисты, рабкоры. Их работа более чем скромна, но и эту работу они прячут под псевдонимы, не называют своими именами и об'ектов своих обличений.

Если в их корреспонденциях говорилось о городе рабочих, то им казалось, что они стоят на верном пути, служат рабочему делу, а на самом деле, они говорили с чужого голоса: их воспитывала, казавшаяся им непогрешимой, глубоко-искренней и высоко-проповеднической, та русская литература и ее критики, которые в то время господствовали, а народившийся рабочий класс начинал только свои первые идеологические бои за марксизм, и если эта борьба и отражалась в литературе, то только пока в области публицистики и на самом узком фронте, шире в нелегальной литературе, в конспиративных кружках.

Тем же жили и первые писатели нашего города: Ф. Д. Нефедов и В. А. Рязанцев.

Рязанцев написал несколько рассказов: „Хороший человек“. „Добрый человек“, „Божьи люди“ и др. Достаточно выписать заголовки этих рассказов, чтобы по ним было можно судить, что эти „хорошие“, „добрые“ и „божьи люди“—не наша рабочая ивановская действительность: крепостная и послереформенная фабрика подобного человеческого материала не вырабатывала.

И Нефедов свое фабричное Иваново иначе не называл, как только „гнилым чортовым болотом“, „омутом животного царства“; его рассказ „Безоброшный“ показал только одно человеческое смирение,

Наибольший же успех в смысле литературной известности выпал на долю поэта нашего края С. Ф. Рыскина, окрестившего одного из наших фабрикантов „Ванькой Каином“, баллада о котором была самым верным отражением действительности рабочего города.

После 1905 года в Ивановке появились две газетки реакционного содержания, а вслед за ними здесь появляются еженедельники: „Ив.-Вознесенская Нива“, „Ив.-Вознесенская Жизнь“, „Ивановец“, „Дым“.

В этих изданиях начали печататься первые произведения наших рабочих поэтов: А. Н. Благова, Я. И. Лепилова и др.

Правда, и эти голоса были еще очень незаметными, но налицо был уже тот факт, что наши фабрики выбрасывают не только ситец, но и поэтов ситцевого царства.

Между первой и второй революцией было такое время, в пору которого рабочие только и могли повторять слова поэта:

Поэтом можешь ты не быть,  
Но гражданином быть обязан.

С победой Октября рабочее слово впервые по настоящему стало облекаться в песенные формы: поэты и прозаики начали работать в рядах пролетариата, в его партийных органах.

С Октября в Ивановке начал выходить „Рабочий Город“, впоследствии переименованный в „Рабочий Край“. Газете нужны были редакционные техники, они нашлись и все они оказались поэтами, но без жреческих претензий: им одинаково было близким и газетное безымянное дело, и стихи, подписанные именами: Дм. Семеновский, М. Артамонов, Ив. Жижин, С. Селянин, Анна Баркова и др.

„Рабочий Край“ часто выходил только на двух полосах, в нем от „обязательных постановлений“, „военных приказов“ и всегда „срочных“ объявлений и без поэтов было тесно. Но у редакторов на видном месте всегда лежала папка с надписью — „Стихи“. И каждый день при разметке номера она раскрывалась и на двух—трех стихотворениях ставилось резолютивное „в набор“. А выпускающего, тоже поэта, его коллеги всегда напутствовали словами „не забудь“. И он их не забывал.

Основная группа поэтов рабочего города первого призыва, никогда не замыкалась в „кружковщину“. Они много пели об обороне страны, но сами никогда не оборонялись от нашествия „иноплеменных“. Любовно, по-братски ими были приняты в свою семью: С. Селянин, Н. Колоколов, А. Сумароков, Н. Смирнов, Е. Вихрев, Л. Зилов и др. По-товарищески они всегда относились к тем, кто робко отворял редакционные двери и более несмело говорил о своих литературных опытах, в числе которых одним из первых был и Серафим Огурцов.

В столице шум, гремят витии,  
Кипит словесная война,  
А там, во глубине России —  
Там...

Там не — „вековая тишина“, как было во времена Некрасова, а там — в одной из редакционных комнат бурлит поэтический шум, кипит словесная война: одни защищают народившийся имажинизм, другие против него восстают, защищая старое миссионерское проповедническое начало русской литературы. Кто-то и откуда-то выкапывает слова Гете: „Всякое стихотворение будет пусто, если основанием ему не будет служить высшее человеческое и если содержание его не основано на великих событиях и на отношениях народов к своим вождям“.

„Высшее человеческое“ Гете приравнивают к современности, делают его созвучным событиям Октября.

А по соседству с „комнатой поэтической войны“ находилась комната губкома ВКП(б). Там обсуждают наше тяжелое положение на польском фронте. Создается такая картина, когда слова старой мудрости— „во время войны музы безмолвствуют“, никак не оправдываются и это еще подтверждается тем, когда в комнате словесников, против ожидания появляется кряжистая, еще не остывшая от дискуссии, фигура секретаря губкома. Происходит некоторое смущение, но когда кряжистая фигура и сама подает увесистую реплику, каким должно быть искусство, то смущения — как не бывало.

Ведь и этот человек с неожиданной увесистой репликой был когда-то в царском рабочем университете, по-просту в тюрьме, где он мучился не только вопросами революционной тактики уличного баррикадного боя, но с товарищами вел дебаты и о целевой установке искусства, а его оппоненты и единомышленники, как это было с Семенчиковым, писали стихи.

Самокритика внутри самой „рабкраевской“ литературы вскоре сменилась критикой московских газет и журналов, когда ивановские поэты совместно с москвичами выпустили три сборника стихов: „Крылья свободы“, „Красная улица“ и „Сноп“.

Возникновение этих сборников обязано Иваново-Вознесенскому губернскому агентству цензурно-печати, разрешившему через поэтов „Рабочего Края“ вопрос о снабжении рабочей губернии революционным песенником, в чем на книжном рынке была большая настоятельная нужда.

Сборник „Крылья свободы“, изданный в 10.000 экз., так и прошел под названием песенника, который через цензурно-печать проник в самые отдаленные „глухие“ места деревни. Большой ценностью этого песенника было то, что в виде пролога в нем были напечатаны и все старые боевые революционные марши и песни. С этого сборника ивановские поэты начали принимать участие и в книжном литературном хозяйстве.

О „Крыльях свободы“ в газете „Известия“ А. В. Луначарский дал хороший, одобряющий отзыв, а по словам Барковой Анны, когда он к ее книге стихов „Женщина“ писал предисловие, то не мало удивлялся тому, почему это промышленный, немзыкальный Иваново-Вознесенск с приходом революции превратился в „поэтические Афины“.

Ивановские поэты были связаны и с М. Горьким, через его давнишнего знакомого Д. Н. Семеновского.

В переписке с последним М. Горький пишет: „Зачинаю здесь журнал „Завтра“. Очень прошу вас, пришлите стихов своих, Жижина, Семина. Стихи Жижина свидетельствуют о его таланте, Семина—**жиже**“.

У М. Горького и в дальнейшем отношения к ивановцам не меняются.

В „Правде“ (№ 17, 1927 г.) в годовщину смерти вождя, среди материалов к его характеристике, мы встречаем беседу М. Горького с В. И. Лениным.

В 1921 году за стенами Кремля М. Горький расхваливал ивановцев, новых певцов пролетарского слова, поэтов рабочего города. Это заставило В. И. дать личному секретарю такое распоряжение.

Прошу (комплект) достать „Рабочий Край“.  
В Ив.-Вознесенске. (Кружок настоящих пролет.  
поэтов). 28/1—921 г.

Хвалит	{	Жижин
Горький		Артамонов Семеновский

Указание имен в этой записке обязывало секретаря сделать библиографические выборки об указанных поэтах, а самого вождя обязывали более неотложные и важные задачи момента быть не с певцами революции, а с ее творцами.

Жаль, что это не позволило В. И. дать о первых свою критику, весьма ценную бы, конечно, и для наших дней, когда вопросы искусства, как никогда стали актуальными, как никогда они сейчас требуют своего более ясного и точного разрешения.

В это время на имя Д. Н. Семеновского из Берлина было получено письмо: „Здесь, в Берлине, образовалось „Книгоиздательство писателей“, редактором которого является пишущий эти строки. Мы преследуем единственную цель: дать возможность пробиться молодым писателям, поднявшимся здесь (в эмиграции) и у вас в России.

Поэтому позвольте для начала нашей связи предложить вам, Жижину, Барковой и другим вашим товарищам вступить с нами в связь. Присылайте нам свои вещи“...

Письмо из Берлина было послано за подписью „Глеб Алексеев“.

Приглашение антантовских добродетельных муз ивановцы не приняли, они предпочитали оставаться у себя дома, в окружении рабочих блуз, хотя в это время к местным поэтам стали относиться более скупой, чем раньше. Город переходил на мирную рабочую весну: фабрики были замороженными, начали отходить, лед тронулся, был канун полного половодья социалистического строительства.

С большим вниманием и с более широкой оценкой к литературе нашего края подходил А. К. Воронский.

Воронский у ивановских поэтов не нашел поэзии Гастевых, гимнов стали, бетону, доменным печам, да и не нужно было этого у них искать.

Если, как говорит сам Воронский, Николай Смирнов подражал Бунину, Жижин — Бодлэру, Семин — Некрасову, то явно, что эти поэты шли от книги, их песни были выношены не во чреве рабочего города. Но это не так.

Для песен победоносного шествия революции наших поэтов „Рабочего Края“ хватило, те же, кто в революцию пришел с прошлым, чья рабочая поэзия брала свое начало из крестьянской поэзии, при новой экономической политике они свой революционный пафос быстро разменяли на примирение с тем, откуда они брали свое начало. Среди непримиримых остались: Анна Баркова, Серафим Огурцов, М. Шошин, как люди по своему возрасту не знавшие никакого дореволюционного прошлого, чье творчество в действительности было свежо, молодо, смело, от боевой поэзии площадей они перешли и к изображению новых переживаний своего поколения, заново начали мыслить, чувствовать любить.

В предисловии к книжке стихов А. Барковой „Женщина“ Луначарский пишет:

„Трудно поверить, что автору этой книги 20 лет. Посмотрите: А. А. Баркова уже выработала свою своеобразную форму, — она почти никогда не прибегает к метру, она любит ассонансы вместо

рифм, у ней совсем личная музыка в стихах, — терпкая, сознательно грубоватая, непосредственная до впечатления стихийности.

Совсем свое лицо у этого юного человека“.

Серафим Огурцов и Гастев земляки, оба суздальцы, но их поэтическое семя пало на разную почву, первый из них после суздальских церквей очутился в окружении дымовых труб ситцепечатных фабрик, а второй металлургических заводов. Как и должно быть Огурцов оказался красочным поэтом, круглый год цветущего ситцевого царства, восхищенным искусством инженера, ритмическими движениями машин, а Гастев восхищается мускулами и энергией тех, кто эти машины готовит, в чьих руках молот, резец и напильник говорят тоже по разному и имеют свой ритм, но менее певучий, сдержанный, их сдерживает контроль технических приборов и аппаратов-измерителей. У металлистов меньше времени на раздумья, на песни, чем у ткачей, труда более вольного.

Гастев в своей поэзии целен и специфичен, в своих стихах он расплавляет металл, льет, литье обтачивает, прилаживает, его стихи часто и суровы, как сурова спец-одежда на плечах работающих в литейных и прокатных цехах.

Я люблю тебя, рокот железный,  
Стали и камня торжественный звон,  
Лаву... Огонь беспокойный, мятежный,  
Гимнов машинных бравадный их тон.  
Я полюбил твои вихри могучие  
Бурного моря колес и валов,  
Громы раскатные, ритмы певучие,  
Повести грозные, сказки без слов.  
И полюбил я тишь напряженную,  
Ровный и низкий и сдержанный ход,  
Волю каленую, в бой снаряженную,  
Мой дорогой, мой любимый завод.

Но также целен и по своему специфичен и Серафим Огурцов. Он пришел в рабочий город, когда фабрики не работали. На его глазах они были и пущены новыми хозяевами — рабочими. На его глазах они начали снова одевать страну ситцем, — на плечах трудящихся появились обнови и об одной такой обнове поэт говорит:

Будут долго кудрявые косы  
Под оконцем березыньке сниться...  
Нынче праздник у тетки Федосьи:  
Сшила платье из свежего ситца.  
Пахнет ситец стаяками и краской,  
Он Федосьино обвил плечо,  
С незнакомой, смеющейся лаской  
Он целует ее горячо.  
Когда дни под студенным покровом  
О весне цветкудрой звучат,  
Зреет ситец цветочным узором  
На Федосьиных крепких плечах.  
У Федосьи так праздники редки.  
С новым платьем и в сердце огни...  
Приходили к ней нынче соседки  
Любовались на платье они.  
— Ав, Федосьюшка, просто — красава,  
— Только хахаля надо тебе...  
А Федосья, как важная пава,  
Горделиво плыла по избе.

Это тоже песня победы, но победы не в гражданской войне, а в преодолении мирного строительства, на фронте будней революции. Но и такие будни способны порождать пафос и этот пафос в стихах Огурцова есть.

„Северного безмолвия и печали“ (выражение Воронского) не оправдывает и другой поэт, А. Н. Благов.

Если Огурцову незнакомы никакие трудовые дисциплины, кроме литературной, то Благов в буквальном смысле прошел огонь, и воды, и медные трубы всего ситцевого и ткацкого производства. Его прошлое — станок, станок ему был близок и при новом хозяине.

В Благова глубоко вросла фабрика и он сам в нее глубоко врос. Если в его стихах еще **не забыта деревня**, то в этом больше сказывается не его любовь к ее якобы добротельной красоте, а он к ней относится, как хороший хозяин к заказчице на его товар и, проработав ночь на нее, он свою фабрику не клянет:

Ты ласкала меня за работой,  
Чернокосяя ночь, до утра,  
Задарила цветами полотен,  
Миткалями светлей серебра,  
Я доволен тобою, доволен,  
И подарков себе не возьму,—  
Кто трудится над вспаханным полем,  
Все с любовью отдам я тому.

В этом нет большого героизма, это не поход ивановских ткачей под Уфу, Казань, но это не менее значительно и поучительно, когда в мирной обстановке люди живут фронтовой жизнью, когда человеку за целый год труда надо бы отдохнуть, а он вот что говорит:

Прощай, машина! Две недели—  
Не зашумят твои ремни.  
А мне в лугах густую, зелень  
Косить под корень в эти дни.  
Косить! Да разве только это?  
В деревне дела будет тьма!  
Везу с собой не мало „света“  
Я для мужицкого ума.

Здесь не чувствуется поэта—крикуна, нет стремления кого-то перекричать, перехвастать, здесь больше художественного показа,— что и в фабрике живет радость жизни, и большая, чем в хваленной старыми поэтами деревне.

Михаил Шошин в литературу нашего края пришел из деревни, с маленькими ее людьми, с деревенскими „лишняками“; т. е. с немущими никакого хозяйства, чье существование его интересовало и борьбой за кусок хлеба, и напоминанием о том, что и они люди. И действительно эти люди им показаны даровитыми, жизнеспособными, с тягой на свет, в большой город.

Это было на первых порах его творчества. А сейчас он деревню сменил на рабочий поселок, на рабочее местечко, где он ищет в выводимых им лицах нового человека, утверждения в них новых начал быта, среди сложной, плохо поддающейся разрушению, психики большинства. Как в первом этапе его творчества, со ставкой на человечность, так и во втором, где одной человечности мало, и нужен еще упор логического оправдания всевозможных противоречий, Шошин по манере письма одинаков, красочен и сочен, местами мягко-лиричен, с языком колоритного поселкового жаргона, и с пейзажем влюбленного в природу охотника. Шошин сам охотник, и его спутники на охоте— юмор и анекдот—не оставляют его и в его рассказах. В ландшафтах фабрики он близок к Огурцову и Благову, фабрика в его глазах не чудовище, а более добрый и хороший хозяин, чем земледелие, деревня.

Огурцов, Благов и Шошин в литературу текстильщика вносят то новое, чего раньше не было, но что в значительных размерах, задолго до них, изображено в литературе о металлистах.



Нельзя не остановиться здесь и на таком явлении, почему в Иваново пишут больше стихами, а не прозой.

У рабочего населения старого и нового города обычный стиль бытового говора—стиль по преимуществу балагурный, пословиц, поговорок, шуток, попадания в „рифму“. В романе Насимовича „Город премогучий“ такой язык многим покажется неверным, надуманным, а на самом деле он таким и должен быть.

Когда в „Рабочем Крае“ от времени до времени появлялись сатиристические отделы: „Трехвостка“, „С песочком“, рабочие эти отделы называли „самым хорошим чтением“, то и в этом факте нам бы хотелось видеть подтверждение нашей мысли, что ивановскому ткачу свойственны и размеренная речь, и ее шуточное оформление.

В сатирических отделах „Рабочего Края“ мы всегда видели редкую спелость ивановских поэтов, редкий ансамбль их коллектива и это мы всегда называли славной трудовой порой.

Нашим поэтам немного надо быть и инженерами, заглядывать в техническую литературу, пополнять свой крайне бедный словарь индустриального слова, а то они привыкли довольствоваться только одними общими техническими понятиями: машина, станок, фабрика, завод, чугун, сталь, иногда не находя между ними разницы, и их творчество одинаково сходит за показ как тяжелой, так и легкой индустрии.

Это наблюдается у наших поэтов „Атаки“, их разработка производственных тем совсем не похожа на сложность нашего технического производства, в котором трудовые процессы крайне разнообразны, где механика часто бывает на службе у химии, химия на службе у мастеров ткацкого и сигце-печатного рисунка и т. д. и т. д.

Рабочая Ивановская область за последнее время выдвинула несколько весьма ценных изобретателей, но наши поэты не изобретательны, в их творчестве еще нет того, о чем читатель мог бы сказать: „Как это ново и смело“. Но в смысле разработки тем бытового характера, перерождения рабочей психики у С. Огурцова, А. Благова и М. Шошина, есть свои новые и смелые достижения, их работа является очень ценным вкладом в общую пролетарскую литературу.

Все же, на чью-то новую долю должна выпасть более значительная литературная миссия, близкая к той, когда ивановские ткачи на гражданском фронте войны героически штурмовали во многом превосходящего их врага, а в обстановке мирного строительства возводили и возводят социалистические, крепостные сооружения производства, быта, культуры, что по силе и красоте их приближает к самым великим начинаниям.

# Весна в корпусах

СЕРАФИМ ОГУРЦОВ

Я сегодня  
Заметил тайком,  
Что в глазах  
У ткачихи написано, —  
Загрустила она  
За станком —  
О приморской  
Весне кипарисовой...  
Черноморский  
Ей грезится путь,  
Стал ей корпус  
Взволнованный тесен;  
Надрывается Марьяна грудь  
Под машинные  
Всполохи песен.  
И вскипает  
Машинная звень,  
Словно синь  
Созревающим хлебом.  
В корпус голубем  
Просится день,  
Распахнув всем  
Доступное небо.  
Будет отдых  
В краю голубом,  
Где цветные  
Горят побережья,  
Где звенят  
Кипарисовым днем —  
Сбереженные  
В сердце надежды.  
Я сегодня заметил  
Тайком —  
То, что в сердце  
Ткачихи написано;  
Вспоминает она  
За станком  
О приморской,  
Весне кипарисовой,  
Виноградный  
Ей снится восход,  
И прибор  
Взбаламученный снится...

А машина поет и поет,  
И колышется  
Радугой ситца.  
В белых ландышах  
Свежий кумач,  
Потолки —  
Облака в поднебесьи,  
И в машине  
Грохочут грома —  
Майских грез  
Разливанные песни.  
Улыбается ярко она,  
И кричит в гул  
Машинный соседу:  
— „Наступает и наша  
Весна!..  
На курорт я  
Весною поеду“.  
Марья! Марья!  
Понятно-ль тебе:  
Все — твое, — и дворцы  
И палаты,  
Все, что добыто  
В трудной борьбе,  
Что руками  
Победными взято.  
Все твое: студный  
Север, и Юг,  
И Восток, что  
Волнуется краше,  
Только Запад —  
Сомнительный друг,  
Но и он будет  
скоро  
нашим..

И вскипает  
Машинная звень,  
Словно синь  
Созревающим хлебом,  
В корпус просится  
Голубем день,  
Распахнув всем  
Доступное небо.

## Хорошо в полях

НИК. ИВАНОВ

Хорошо в полях! Хорошо!  
А в поля бы я не пошел. —  
Полюбить-ли мне всем нутром  
Кружева тропинок и троп,  
Тихий шопот поспелых жит,  
Васильковую синь во ржи?  
Полюбить-ли немую ширь  
Мне — пришедшему от машин?  
В корпусах тоже много троп  
И шумнее полей — нортроп,  
А глаза... а глаза у ней  
Полевых васильков синей.  
Хорошо в полях! Хорошо!  
А в поля бы я не пошел.

---

## Корпуса

Как окрасится восток  
Кумачевою зарею,  
Ранней, утренней порою  
Разбуди меня гудок.  
    Загорятся небеса,  
    Приоткроют ночи створы, —  
    За рекою, точно горы,  
    Громоздятся корпуса.  
Тишина среди громад.  
Мы придем, нас много, много!  
Вздоргнув, точно от ожога,  
Корпуса заговорят.  
    Лишь нажать рычаг рукой  
    И ремни вспорхнут, как птицы,  
    И приводы вереницей  
    Закружат над головой.

---

# Песня

АЛ. БЛАГОВ

Красота — места!  
Как в саду идешь...  
На полях густа  
Молодая рожь.  
В теремах лесных  
Весел вешний путь,  
Под напев сосны  
Отдыхает грудь.  
Сколько теплых слов  
У травы с рекой!  
Голубых цветов  
Не собрать рукой.  
Пролетел, звеня,  
Ветер шелковый;

Заласкал меня  
Шум поселковый.  
За избой — изба  
Гладко стружена,  
У окон резьба  
Вьется кружевом.  
По цветным коврам  
Ходит улица,  
Только сельский храм  
Что-то хмурится.  
Не к душе ему  
Новой жизни свет —  
За былую тьму  
Не встает совет!

---

\* \* \*

Только вам завидую всегда я,  
Золотые руки столяра...  
Льется, льется стружка золотая,  
Золотая пенится гора.  
Запоют заводы спозаранок  
И прошусь с приветливой весной...  
Столяра отточенный рубанок  
Осыпает свежестью лесной.  
Ах, отец! Не разгадал ты сына,  
Ты не знал, что с тихою тоской.  
Будет петь он у машины  
О кудрявой, белой мастерской.

---

## Далекие гости

Приехали из дальней стороны,  
Как две сестры — похожи друг на друга;  
Их город звал от голубой весны,  
От свежести нескошенного луга.  
Я помню их. Я жил в краю лесном.  
В те дни, когда молчал печальный город.  
Когда в глаза глядел суровый голод,  
Когда никто не спал спокойным сном.  
Угрюмый край... Людская темнота...  
На пашне вздохи дедовской косули.  
Одно добро — природы красота:  
В густых лесах деревни утонули.  
В лугах река, сверкая и звеня,  
Бежала в даль под небом синеоким.  
Но песнь одна о городе далеком  
Была всегда любимой для меня.  
Я снова здесь, у шумных корпусов...  
(В родной земле мои заройте кости).  
В веселый день из сумрачных лесов  
Нежданные ко мне явились гости.  
По их речам я не узнал тебя,  
Знакомая сторонushка — лесная.  
Гнилую старь безжалостно губя,  
И по тебе гуляет жизнь иная.  
Привет тебе, сверкающая новь!  
Цвети зарей по обновленным нивам...  
Далекий край, забудь в пути счастливым  
Мою к тебе былую нелюбовь!

---

## Стансы

Весна на улицах родных  
Цвела и пела беззаботно,  
Зима холодная на них  
Бросала белые полотна;  
И осень хмурила глаза,  
И лето сыпало улыбки,  
И каждый день под небом зыбким  
Гремели наши корпуса.  
И там, где чище синева,  
Снега декабрьские пушистей,  
Весною птицы голосистой,  
Кудрявей сочная трава;  
Где солнцем залиты просторы,  
Леса; овраги, пустыри —  
Крестьянский труд, сдвигая горы,  
Шагал с зари и до зари.  
Года ушли, как поезда,  
Они свои пропели песни,  
И перед нами все чудесней  
Цветут поля и города.  
Мы слышим гул заводов новых,  
На пашнях тракторную речь;  
Мы от руки врагов суровых  
Умеем родину беречь!  
Наш светлый дом высок и прочен,  
Наш верный путь широк и прям...  
Позор и стыд тому, что хочет  
Молиться старым алтарям!  
В страну свободы полновластной  
Летит восторг чужих полей;  
И мир глядит с надеждой ясной  
На величавый мавзолей.

---

# Оттепель

РАССКАЗ

Н. КОЛОКОЛОВ

Часто к приплюснутой избенке Кузнеца Василь Палыча чья-нибудь подвода под'езжает в утреннюю пору—и тогда обшарканное в проселочных путях кнутовище в течение нескольких минут сдержанно бьется о покосившуюся раму окошка, то мутного от летней пыли, то замысловато расписанного холодом. Проснувшись, кузнец в избе не медлит. Он будит Мишку и, оставив парня справлять бабы печные хлопоты, торопливо идет в кузницу. Через десять пятнадцать-минут Василь Палыч уже орудует около мехов и наковальни или у столбчатого конского стана. Дело всегда есть: бедна округа кузнецами—некому, кроме Еремки Седельницкого, перехватывать заработок. Осенью перед кузницей—целые очереди на ковку лошадей, весной—на выточку сошников и на обтяжку колес железными шинами. Зимой мужики наезжают реже, но все же дня не проходит без заказов: одному нужны тормоза на санные полозья, другому—ведро, третьему вылуди самовар. Бабам подавай то ухват, то кочергу, то сковородник... Да и мало ли еще всяких мелочей требует от кузнеца деревня! Зимой же Василь Палыч мастерит кой что и на случай продажи: то ладит самодельный плужок, то железную борону.

Умывается кузнец редко и неохотно—и все его лицо в обильной копоти, уже несмываемой, в'евшейся в кожу прочно, как матросская татуировка. Неудивительно, что на городских базарах дальние мужики всерьез принимают Василь Палыча за цыгана и подозревающие хмурятся, когда он с кузнечным своим любопытством поглядывает на ноги крестьянских буланок и сивок. Да и среди знающих его мужиков многие за глаза не называют кузнеца иначе, как—„цыганом“.

И маленькая легковренчатая, под ржавой железной крышей, кузница Василь Палыча и конский стан перед нею кажутся пропитанными насквозь копотью, как иная шлея—дегтем. Горн в кузнице не ахти какой, наковальня будто исковыряна чудовищной оспой, а меха, словно пластырем, залеплены заплатами, и в работе старчески шипят своими сборчатыми боками. Однако, Василь Палыч считает свою кузницу образцовой, а себя—первейшим мастером кузнечного дела. И перетягивает ли он на-ново сорвавшуюся с колеса железную шину, переминает ли на наковальне подтертую подкову или прижигает, выравнивая, обухромившееся по краям конское колыго, легонько закипающее и пахнущее горелой гребенкой—он не упускает случая ругнуть соперника Еремку.

В доходные дни к вечеру Василь Палыч, подсчитав заработанные деньги, идет в кабачок Антипихи за водкой. Самогонки он не пьет с тех пор, как заработок поднялся до семидесяти рублей в месяц.



У Антипики кузнец выпивает стаканчик-другой, выкуривает цыгарку и, захватив полбутылки водки, идет с подогретым сердцем домой. В голове легко и ясно, чувством свободы и обеспеченности полна грудь. В самом деле—кто из мужиков в селе так свободен, как он? У всех—семья, жены, забот уйма. А он, вдовый, живет себе с сыном—ни у кого не в долгу. О парнишке—какая забота? Скоро женихом будет, а там и полным хозяином себе. О нем—меньше полдумы. Спокойно кузнецу и радостно—хоть запевай.

Однако, всякий раз, когда Василь Палыч проходит мимо избы—вдовы Ульяны Барашковой, спокойствие его слегка колеблется от тех назойливых дум, которые он хотел бы навсегда отогнать от себя. Перезрелое румяное лицо сорокалетней Ульяны возникает в его представлении дразнящим соблазном—и кузнец сильно чувствует свое крутое тело. Вспоминается покойная жена, жаркие ее ласки—и чуточку трудней становится дышать. Но в воспоминаниях о жене проступает и другое; жалостливые—к деньгам—завывания ее привиде бутылки водки в руке мужа, постоянная пристальная слежка за его доходами, непреодолимо владевшее Василь Палычем ощущение, будто с затылка его никогда не сходит взгляд чьих-то бессонных и непонятно-властных глаз. И еще—не угасла тревога, что жена, после длительного бесплодия, начнет, вот, подсыпать к Мишке из года в год сестренку да братишек, и насыплет их, эдак, с полдюжины. Но три года назад жена умерла по-чудному—от ребячьей болезни скарлатины. И хоть не мало жалел ее Василь Палыч (двадцать пять лет вместе прожили, привычка), но через год уже крепко свякся со своей нечаянной свободой и полюбил ее во весь вкус. Воскресни теперь жена и явись в избу—кузнец, может быть, и примет ее по хорошему, но в глубине души расстроится на всю жизнь. Очень сладко затылку не чуют наблюдающего взгляда!

„Эх, поиграть бы с Ульяной без никакнх последствий!—думает кузнец, проходя мимо дома вдовы:—Только она—баба не такая. Коренастая баба. Семь лет без мужа живет—воды не замутила, такая окалина. Мужики да парни горохом от стенки отскакивают. Без закона ее не возьмешь. А жениться на ней, да еще с прикладом—петлю на шею надеть. Трое ртов приклад то! Крякнешь, такая окалина!“

Василь Палыч крякнет и спешит мимо соблазна домой. Здесь он допивает водку, заедает ужином, приготовленным Мишкой, и, успокоившись снова и окончательно, ложится спать, с радостной мыслью о том, что нет жизни лучшей, чем жизнь в полной своей воле и—без забот. Недаром мужики, засуноненные в тошную семейную лямку, скрытно, недружелюбно и боязливо завидуют кузнецу! Хорошо жить без бабы и ребячьего крика... И все же—перезревающее лицо Ульяны успевае еще раз появиться перед закрытыми глазами кузнеца у той самой тончайшей черточкй, где явь не различишь от сна. И Василь Палыч спит жарко и душно, пока в оконную дряхлую раму не постучит кнутовище.

\* \* \*

На улице зима, наступившая круто: в двое суток нетерпеливый снегопад опрокинул осень. В октябре грянули морозы, напоминавшие декабрь, а в начале ноября на село налетела с полевых мерзлых просторов первая вьюга. По закрепшему санному пути потянулись селом десятки подвод с дровами на станцию. Дымилась паром и на ходу индевели лошади, наполнилась деревня черствым, почти осязаемым, снежным хрустом.



Но вот к укатанной снежной дороге подкралась введенская оттепель. Близость ее почувствовалась с вечера. Сизо-серое небо снизилось и вихрастый ветер просквозили струйки тепла. Близко к полночи снега и облака зыбко связал дождь, державшийся почти непрерывно до утра.

К утру дорога потемнела, снег стал мягким и липким. На деревенском пруде лед спрятался под водой, зеленоватой, густой от расплывшегося в ней снега. Береза у попова дома сронила вчерашние белые клочки, на ветвях ее искрились прозрачные капли. Лес вдаль стоял лиловато — черным, словно в конце марта или в начале апреля.

К полудню у кузницы Василь Палыча стояла выпряженная лошадь, низкорослая, мутновато-гнедая, с покрасневшим левым глазом. Меж ею и розвальнями, на которых горбился полусаженок березовых дров, рыжебородый мужик, сдвигая шапку с потного лба, говорил равнодушно:

— Ты, Василь Палыч, в стан животину не вводи — ласковая, на руках куется. Зады исправить — долго ли? А передов не тронь, послужат...

— Послу-ужат, жди!.. — насмешливо протянул кузнец, приподняв слегка и тотчас опустив левую переднюю ногу лошади: — Ишь, все шипы сбиты. Кто ковал? Еремка Седельниккий?.. То то я и вижу... Не нашел ты мастера хуже!.. Еремка молотом не бьет, а поклевывает... Ему только матерьял портить!

— Тут не в мастере беда, — вяло возразил мужик: — железо, видать, попалося перегарчивое. Оно за молодое идет, а может сто раз на наковальне было!

Василь Палыч хлопнул себя по коленям и сплюнул раздраженно.

— Будешь ты мне говорить, такая окалина! Да с большой то перековки железо куда лучше, чем с завода. Ну, только — испортить добро всегда можно. Еремка на это мастак, сукин сын. Доведись ему сварку делать — завсегда до вишневого раскалу передержит. Знаю я его! — Василь Палыч оглядел остальные ноги лошади. — Ишь, и копыта перепалил... — тьфу!..

Мужик оставался попрежнему равнодушным, только в темных усах его дрогнуло подобие усмешки.

— Вас, мастеровых, не рассудишь. Седельниккий то на тебя жалуется — никогда, говорит, прокалу не додержит — это ты-то, — оттого железо после тебя насквозь пленастое. Вас не рассудишь...

Казалось, прокопченное лицо кузнеца почернело еще больше. Но ругаться он не стал.

— Еремка то на свой помет натывается, а на меня кивает, — презрительно кинул Василь Палыч и приступил к работе, заставив мужика орудовать мехами. Работал он молча, насупленно. Не чаял Василь Палыч, что нанесенная ему обида вознаградится в этот день неожиданной, но крепко-желанной радостью. И лишь, когда увидел подходящую к кузнице вдову Ульяну, трепыхнулось сердце и рассыпались мысли о Еремке Седельникком. Ульяна шагала твердо, несла в правой руке дверную скобу с поломанным ушком.

Почему надумала вдова именно в тот оттепельный день нести в кузницу скобу, без которой дверь обходилась уже месяца четыре? Может быть, слишком намозолила поломанная скоба глаза бабе, или подвернулась в тот день под ноги, или просто окрепшим солнцем поманило вдову на улицу и она уцепилась за первое попавшееся дело, требовавшее ее отлучки из избы.

К кузнице Ульяна подошла, когда мужик затягивал хомут на перекованной лошади. Василь Палыч, поглядывая на мужика нетерпеливо, крикнул вдове приветливо:

— Скобочка попортилась, Ульяна Родивоновна?.. Во-время принесла: на свободе направлю—что и надо.—И черное лицо расплылось в знойную улыбку.

От улыбки и дрогнувшего голоса кузнеца бабе стало немного не по себе: то ли жутко, то ли приятно... Она вдруг вспомнила, что не раз замечала на себе взгляд Василь Палыча—откровенный и нерешительный одновременно, и в груди ее смутно шевельнулась внезапная тревога, похожая на предчувствие. Однако, наружно Ульяна не показала и намека на смущение.— не такая баба. Мимо мужика взбиравшегося на дровяной воз, она спокойно прошла в кузницу и произнесла певучим низким голосом:

— Минутка выпала свободная— вот, и пришла. А то за делами забудешь. Делов то с ребятишками—хоть захлебнись! Ты уж наладь получше...

— Будь покойна, Ульяна Родивоновна!.. В пять минут сделаю!..

Василь Палыч засуетился в кузнице, невпопад перекладывая молот, заглядывая в горн. В стальные щели шли волнующие оттепельные запахи. Три года вынужденного отрыва от бабы обернулись в груди нестерпимым жаром. Перехватывало дыхание, ноздри раздувались... Мужик отъехал далеко— и мозг кузнеца мучила мысль, что он сейчас остался в четырех стенах наедине с бабой. Дверь в кузницу слегка приотворило ветром, было здесь сумрачно и таинственно. „Стены на-глухо грех прикроют“...

Ульяна почувствовала вдруг на себе, словно волну жаркого ветра, овладевший кузнецом порыв. И тотчас показалось ей, что семь лет ее верности покойному мужу готовы дрогнуть. Кольнуло холодом колени. „Что это... господи!.. уйти бы... цыган, как есть цыган!“ Но, ведь, Василь Палыч не делал ничего плохого. И вдова, овладев собой, сказала, стараясь вложить в голос как можно больше спокойствия и холодка:

— За чем дело стало?.. Не задерживай меня,—положение вдове, работы по горло...

— Я... это... я сейчас...—срывающимся сухим голосом обронил Василь Палыч:— Ты... вот что... за мехи возьмишь-ка!.. А я... это... скобу на свету погляжу...

Он взял скобу и отошел с ней к полуприкрытой двери. Опять дрогнула во вдовьем сердце безотчетная тревога. Непонятная, мгновенно возникшая, слабость взяла ноги. Казалось, весь воздух в кузнице был полон волнением, палившим Василь Палыча, и оно насильно охватывало бабу. Ульяна взылась за мехи. Из горна в лицо ей глядел огонь, жар кидался на щеки. А за спиной живой раскаленной печью стоял кузнец. Через минуту он бросил скобу и заговорил вовсе не о деле... И слова были горячие, соблазнительные, улецающие. Хотела баба ответить на них со всегдашней своей суровостью, да—не тут то было: затуманило голову, впервые за семь лет ударил слепой час нерассуждающей бабьей покорности. И когда Василь Палыч в два шага перескочил от двери к вдове, и схватил за подмышки—она вскрикнула замирающе и так обвисла на его руках, словно шла ко дну, захлебнувшись сразу неотвратимой мужичьей силой.

Через полчаса Василь Палыч выскользнул из кузницы и, воровато оглядевшись, тотчас вернулся с трезвым и слегка смущенным видом спохватившегося человека.

Ты, слышь-ка, Ульяна... Родивоновна, скобу-то я тебе к завтраму приготовлю... а?.. Пришли мальчишку...—прохрипел он боязливым и просительным полушопотом:—Не пришел бы кто... подумают, это самое... разное!.. Спокойн меня от лишнего разговору, а?..

Ульяна, для чего то потерев рукавом земляное пятно на поле полушубка, пошла к двери.

— Подыскал ты, Василь Палыч, времячко меня осилить,—сказала она без упрёка и даже с тенью благодарности, но все же строго:—Ну, только в другой раз руки не тяни—промахнешься.

— Куда там, куда там! — обрадованно закачал головой кузнец:—И про нынешнее молчок—будто не было.

— Будто не было,—согласилась вдова.

Василь Палыч вечером был весел так, как не веселел в дни самых больших выручек. Казалось, что с радостного спокойствия навсегда сплыло последнее темное пятнышко, что он избавился от единственной тревоги, которую вызывали в нем мысли о вдове. Но прошла неделя—и кузнец вдруг почувствовал снова неодолимую тягу к Ульяне и в то же время—смутный страх перед этой тягой. Страх, впрочем, быстро отступил. „Какое может быть последствие? Баба от людей скрытная... Только—чтоб тишком“... И Василь Палыч к вечеру, выследив, когда Ульяна носила воду, прошмыгнул к ней во двор. Она вздрогнула, увидев его, и выпустила из руки деревянное ухо шайки.

— Зачем пришел?—прошептала испугано и почти зло.

— Ульяна... Родивоновна, я.. я, Ульяна Родивоновна...—безтолково забормотал кузнец.

Ульяна остановилась перед ним, тяжело и шумно дыша, упершись руками в бока.

— Худую славу навести на меня хочешь?.. Али—до беды доиграться?.. Иди, иди своей дорогой... Иди, мужик!.. Ломать меня не вздумай—упористая. Иди, иди!..

Перед кузнецом стояла прежняя, на вид неприступная Ульяна, от которой отскакивали мужики и парни, как горох от стены. Но голос вдовы чуть приметно дрожал, и смотрела она почему то мимо лица Василь Палыча.

Блеяли близко овцы, тягуче чавкала телка. Пахло навозом и сеном. Василь Палыча охватил тот же жар, что в кузнице, когда он остался наедине с вдовой. И опять этот жар—как пламя с одной соломенной крыши на другую—перемахнул на Ульяну. Всей кровью вспомнила она вдруг полчаса в кузнице—и, когда кузнец толкнул ее на груды яровой соломы, произнесла—„уйди... закричу“—тоном угрозы неискренней и нестрашной.

С этого вечера Ульяна перестала противиться Василь Палычу. Тайком встречались они во дворе, в сарае, в кузнице—и скоро глазастая деревня смешливо зашушукала за спиной вдовы. Кузнец и Ульяна не замечали этого или не хотели замечать. И только в январе Василь Палыч с болью и жестокой тревогой пожалел о том, что тайна, может быть, известна в селе многим.

\* \* \*

Январь выковался на-диво гулкий. Под морозами ломался наст. Выйдешь на улицу, вздохнешь взасос—и сразу помолдеешь вдвое... Василь Палыч любил иногда послушать, как морозный молот громит поля.

И вдруг—замутилось бодрое время. Январским вечером на улице Ульяна сказала, что она беременна. Кузнец ошалел, вытаращил глаза и проронил:

— Как же быть-то?

— Родить тебя заставлю, — усмехнулась вдова.

— Нет, ты дело говори, дело!.. — На прочерневшем лице кузнеца появилось даже что то похожее на бледность. — К бабке Федосье бежать тебе надо, вот что!..

— А коли Федосья меня веретеном заколет — ты ребянтю мою вырастишь?.

Василь Палыч обомлел.

— Это как — я?.. Я непричинен... я...

Ульяна остановила на лице кузнеца долгий взгляд, будто пробудившись от двухмесячного сна и с трудом узнавая Василь Палыча.

— Цыган ты, — сказала она, наконец — тьфу! — и пошла прочь.

Василь Палыч кинулся следом за ней, догнал.

— Нет, ты... ты погоди... Чего удумала?.. Може, женить меня на себе хочешь?.. Ты того...

Вдова надменно повела плечом.

— Жени-ить... что-бы я за такого цыгана пошла? Да ни в жисть!

— Помолчала и добавила: — Ну, давай трешницу бабке...

Кузнец торопливо вынул из кармана тонкую пачку бумажек и, отделив три из них, сунул обрадованно в руку Ульяны.

— Тут — рубли все... Не беспокойся, не обману!.. Как же, я же понимаю... Как можно!..

— Как тебе не понима-ать! — насмешливо протянула вдова.

Кузнец спешил домой, не оглядываясь, и ему казалось, что с крепких плеч упала непосильная ноша. Ему было и жалко Ульяну („вдруг и впрямь Федосья заколет!“), и чуточку обидно что баба так высокомерно обошлась сейчас с ним. Но эти маленькие неприятные чувства терялись в радостном сознании, что он выскользнул из опасности, грозившей его свободе и беззаботности. Дома Василь Палыч сказал Мишке так, словно был братом его, а не отцом:

— Эх, парень, хорошо нам вдвоем жить!.. Беги, такая окалина, за половинкой...

Мальчишка, белобрысый и веснушчатый, послушно взял деньги и направился к двери. На пороге он вдруг остановился и, пользуясь благодушным настроением отца, сказал недовольно то, что давно уже таил в сердце:

— С мамкой лучше б... Я, вот, теперь — мужик, а стряпаюсь.. Мальчишки смеются... Какую бы ни есь бабу в дом!..

— Ну, ну, покаркай еще, накличь беду!.. — пригрозил отец: — Поживешь с бабой — узнаешь сладость...

В ожидании водки, кузнец еще раз мельком и опасно пожалел Ульяну и впервые почувствовал к ней признательность за сладкие месяцы „без никаких последствий“.

А у Ульяны в тот вечер дела валились из рук. Она часто поглядывала на своих детишек — восьмилетнего Ваську, девятилетнюю Соньку и одиннадцатилетнюю Надьку. И когда они улеглись спать — глаза ее налились слезами, она долго не могла уснуть — и казалось вдове, что за дверью стоит чуть сгорбленная, с впалым ртом, страшная бабка Федосья. Слух есть, что от ее веретенца две податливых девки ушли на тот свет... „Обожду я к ней ити, че каплет... Эх, вы, кровные мои ребятки!.. Стала ваша матка — кузнецова сыть. Крепилась,

крепилась, да и наскочила... Не приведи-то вам бог в сиротах остаться! Долго плакала Ульяна, а встала утром — ни в одном глазу не видать горя. К полудню на дворе поймал ее кузнец.

— Ну, что.., когда пойдешь?..

— Не твоя теперь забота, цыган. И — провались ты, чтоб глазаньки мои не видели! — сказала Ульяна так, словно подзатыльник мужику дала.

Кузнец шагнул на улицу обиженно, но — с полным облегчением.

Ульяна полученные от Василь Палыча три рубля берегла, не смешивая с остальными деньгами, но к Федосье не шла долго. Отошли январь, февраль, наступил март. Весна близилась. Просасывало овраги. В конце марта Ульяна решила, что больше медлить нельзя. Перецеловала крепко детей, сказала — „в волость пойду, вернусь скоро“ и зашагала в соседнее село к бабке.

День светлел теплый. На березе перед поповым домом весело кричали скворцы. Опавшая дорога была продырявлена лошадиными копытами. За селом обнажился пригорок, у лесной опушки чернели кочки и пни. В лесу, среди елей, проблескивали лужицы с ледяным дном, потный снег усеян был еловыми иглами и шишками, пестрыми куриными перьями — следом ястребиного пира. „Ишь, пеструшку ястреб заклевал... Клюв то острый, что веретенец“... Понывало сердце. Слабость налила ноги, когда лес стал заметно редеть. „Меньше полверсты осталось“... Там, где дорога выбегала из леса в поля, вплотную подступила к ее изгибу матерая береза. Вдова остановилась, прислонилась к дереву, невидящими глазами смотрела на талые пятна земли, покрытой гниющими прошлогодними листьями, из под которых здесь и там пробивался нежный зеленый мох. На кочке у подножья березы серыми яйцами лежали дождевики, почти просохшие, чернела мозгляя прошлогодняя сыроежка.

Ульяна вдруг оторвала взгляд от листьев и, словно с удивлением, обвела им лес и поле. Ей показалось, что мартовский день капля в каплю схож с той введенской оттепелью, на которой поскользнулась баба. Так же солнце светило, так же было сыро и тепло, так же пахло.. Но теперь в груди ее скулит болящая тревога, а тогда было так хорошо!..

Ульяна вдруг вскинула голову и уперлась руками в бока.

... — А ему — плохо было? — громко сказала она осине, стоявшей по ту сторону дороги: — Обоим хорошо, а веретено — мне одной?.. Али я сама ему в лапы лезла?.. — У-у, цыган! Не пойду я к Федосье окаянной, хоть ты лопни... Не пойду и не пойду!.. Дура я пропащая — дитяток своих кровных под сиротство подвести хотела... Да пропади он пропадом, цыганская душа, нагрешник толстомордый!

Пылая от обиды и гнева, Ульяна твердо и быстро зашагала по дороге обратно. Через час она отворила дверь кузнецовой избы. Мишка нес к столу только что вынутую из печи ковригу хлеба. На Ульяну он глядел смущенно, покраснев, как от пару.

— Отца-то нет дома? Вот — передай ему три рубля. От меня, скажи. В долг брала. — Ульяна уже обернулась лицом к двери, но тотчас поглядела на парнишка через плечо и с жалостливой насмешкой добавила: — В печи всё ковыряешься, малый? Старайся. старайся... Дотянешь до замужних годков — женишка тебе сыщем хорошего... — И добавила совсем сердечно, с глубоким вздохом: — Эх, милоч.. горькая твоя долюшка!..

Дверь хлопнула за вдовой. Мишка рывком заревел, повалившись брюхом на лавку...

Не прошло полчаса — кузнец постучал в окно вдовьего дома и поманил Ульяну пальцем.

— Тебе чего? — появилась вдова на крылечке.

— Слышь-ко, Ульяна Родивоновна, — сколько — ласково, будто оступаясь, заговорил Василь Палыч: — Чего ты мне трешник вертать выдумала?.. Чай, бабка не даром.. ну, вообще..

И он, стоя у крылечка, воровски оглянувшись, поднял на нее глаза пытливо-опасливо.

Ульяна усмехнулась почти ненавидяще.

— Сам ты иди к бабке, чтобы она тебе бестыжие бельма выколола!..

Кузнец порывисто шагнул на приступку крылечка.

— Да ты.. слышь.. неужто досель не ходила?..

— И не пойду, — оторвала вдова, скрылась за дверью и заперла ее изнутри.

Василь Палыч постучал и в дверь, и в окна, но изба упорно безмолствовала. Раздраженный и встревоженный вернулся он домой. Он чувал, что угрожающее облако нависло над привычной его беззаботностью. И не обманулся.

\* \* \*

Втечение двух недель все попытки Василь Палыча поговорить наедине с Ульяной были бесплодны. Вдова избегала его на улице и не впускала в свою избу. Отталкиваемый бабой, кузнец все настойчивее и откровенней преследовал ее; он вовсе перестал, в чаду испуга и раздражения, думать о деревенских пересудах. И теперь в селе почти в-открытую говорили о том, что Ульяна беременна от „цыгана.“

Однажды за-полдень Василь Палычу удалось, наконец, вплотную встретиться с вдовой около ее сарая. Кузнец был настойчив, он поймал своей черной лапой и не хотел выпускать бабью потную руку.

— Ульяндивона, Ульяндивона.. пстой мнутк.. пстой!.. — бормотал он, комкая слова, боясь, что она уйдет: — Чво ж ты с'мной делаешь?.. А?.. — Видя, что, как будто, она не собирается уходить, он шумно перевел дыхание, провел свободной ладонью по лицу и заговорил спокойней и членораздельней. — Чево ж ты со мной делаешь?.. К Федосье не пошла, от меня прячешься, сына мне насмешкой попортила.. Он теперь из оглобель вон прет, от горшков рыло воротит, крынку вчера на зло мне разбил! Я об его башку кулаки насквозь измял.. Ты все к чему клонишь?.. Чтob меня на себе оженить?..

— Может и так, — чуть насмешливо обронила Ульяна.

У кузнеца запрыгали губы.

— А не хочешь ли?.. — выкатил он огромные глаза и назвал то неудобоваримое кушанье, которым русский человек охотно угощает встречного-поперечного в те минуты, когда меньше всего расположен к гостеприимству.

— Спасибо, не подчивай, сыта, — сказала вдова и легонько похлопала себя по животу, слегка пополневшему за последние месяцы, — И скажу я тебе прямо, цыган: не то, что доброй волей не пойду за тебя замуж, а и насильно не затащишь. Ну, а дите — рожу. Покуда жива — авось, на него копейку заработаю.

А к веретеннице сам иди, чернорожий дьявол.

Сказав так, Ульяна подняла на спину набитый сеном ветер и пошла к избе. Слова ее ничуть не ослабили тревоги кузнеца, он шагнул следом за бабой.

— Слышь, а ежели я...—сдвинул он брови и смолк, не найдя подходящей угрозы.

— Ну, чего—ты?.. Убьешь меня?.. Дите унесешь да в колодец сбросишь?.. Так, что ли?..

Василь Палыч отшатнулся.

— Что ты, что ты!.. В тюрьму меня прочишь, такая окалина...? Да я за всю жись кулаком никого, окромя Мишки, не трогал... Типун тебе на язык да десять под язык!..

— Ну, чем же ты меня к стенке прижмешь?.. Сказывай...?

— А ежели я... как говорится... это... ну... это...

Подходящей угрозы не нашлось опять, и кузнец, внезапно весь как бы ослабнув, повернулся к бабе спиной и безнадежно пошел прочь. Он решил не вести больше с вдовой никаких разговоров и внутренне насторожился в ожидании возможных неприятностей.

Весна развертывалась своим чередом. Омыл первый вешний дождь корешки—и всюду зашерстилась из них веселая зелень. Земля волосатела, как человек, перешагнувший от ранней юности к зрелости. В начале мая дожди нависли густо—на целую неделю. Потом сслвце за один утренний час, будто наверстывая потерянное время, наотмашь-раздвинуло дымные облака. На лугу, прозеленевшем пятнами, синели лужи; река разбухла от паводка и порыжела.

Майским днем Василь Палыч пошел в волостное село к трактирщику Фролу Фомичу, которого знал давно и считал человеком, хорошо разбирающимся в законах. Шел сначала полем, где грязновато желтело прошлогоднее жнивье, за полем—обсохшим сизым ольшнякам, а после лесной дорогой, которую здесь и там, словно толстые веревки, перевязали от колеи к колее березовые обнаженные корни. И не знал, не чуял кузнец, что идет он в лесу теми же верстами, на которых обмирало вдовье-материнское сердце до тех пор, пока не оборвала Ульяна свой ненавистный путь к бабке.

В волостном селе было малоллюдно, трактир пуст, а трактирщик Фрол Фомич перекапывал в огороде сплюсненную грядку; из которой торчала полусгнившая кочерыжка. На зов кузнеца Фрол Фомич ответил чуточку нетерпеливо:

— Ты иди в заведение, Манька чай сготовит, а я—сейчас...

Манька, дочь трактирщика, худенькая, лет тринадцати, подала чайную посуду честь честью: с коричневатым налетом на стакане и с тараканьим яйцом на блюде. Не успели появиться на столе жаркие чайники—Фрол Фомич вошел в трактир, присел на хлибкий стул и спросил с усмешкой человека, знающего свой вес:

— Ну, как живешь, Коваль-Ковальчук?—И тут же в сотый раз пояснил кузнецу:—Это—есть такая хохлатская фамилия. Деньги ковать—не начал еще?..

Василь Палыч горестно махнул рукой.

— Куда там!.. Вредная, брат, наковальня подвернулась. Вроде кандалов себе заработал. Подкузьмила введенская оттепель!

И он поведал Фролу Фомичу о своих потаенных тревогах. Трактирщик слушал внимательно, тербил пальцами тошую бородку.

— Я тебе—будто в свои уши,—закончил кузнец недолгую повесть:—Молчать, знаю, умешь.

— Будь надежен,—приложил Фрол Фомич ладонь к столу.

— Как мне теперь быть-то?—подался всем телом вперед кузнец.

Трактирщик, подумав, спросил:

— Рублей до восьмидесяти зарабатываешь в месяц то?..

— Не-ет, меньше. Ежели середку взять — шестьдесят.

— Ну, так ты теперь кошель то поубавь. Четыре десятки влезут — и ладно. Кошель поубавь, а работу в прежнем положении справляй. Тут закон — необходимый. Пугался ты, видать, больно открыто, если вся деревня говорит. Ну, значит, за свидетелями дело не встанет. Сам сказывал — завистники у тебя есть. Не уважат и мастерства при таком задорном случае!

Василь Палыч совсем поник.

— Необходимый, говоришь, закон?

— Необходимый... да не на всякий ум. — Трактирщик усмехнулся. — Я бы на твоём месте нашел лазейку...

Тут Фрол Фомич приблизил губы к самому уху собеседника и зашептал, хотя в грязноватой комнате кузнец и трактирщик были сейчас одни. По выражению лица Фрола Фомича видно было, что он дает знакомому совет не в расчете на какие то выгоды, а из одной только любви к разбрасыванию умных советов направо и налево.

Василь Палыч вышел из трактира слегка успокоенный. Но все же, когда он вернулся в родное село и проходил мимо пруда — ему вновь стало тревожно и отчего то обидно. Неожиданно он поднял с дороги загребелый ком земли и швырнул его в грязную воду, где наперебой кричали лягушки и плавала прозрачным студнем, просеянным черными крапинками, их обильная икра.

На другое утро встретил он Ульяну напрогив ее избы, но прошел мимо так, будто не узнал или не заметит вдову. И она поглядела в его сторону, словно в пустое место, не дрогнув бровью. С того дня, без малого целый год, не перекинулись они ни словом, ни поклоном.

\* \* \*

Ульяна летом шла в косьбе наряду с мужчинами, гнула спину над рожью, коловшей хозяйский глаз черной спориной, позже возила с поля снопы и выпахивала картошки. Бабий живот все прибывал и прибывал, как хорошая опара на крепких дрожжах. Соседки пытались помочь ей в работе, но она и слышать не хотела о помощи, будто гордилась сверхильной своей страдой. А на попытки баб заговаривать с ней о предстоящих родах и о кузнеце она или погружалась в какую-нибудь работу так, словно сразу переставала что либо слышать, или торопливо уходила, будто спохватившись и вспомнив о неотложном деле.

Мужики — из наиболее насмешливых и бойких — иногда при встрече с кузнецом намекаяще кивали в сторону вдовьей избы:

— На крестины то скоро позовешь? Али, может, без попа обойдешься?..

Василь Палыч глядел на шутника свирепо и бросал отрывисто:

— Твой бы язык, такая окалина, ребятам огдать — хорошу бы трещетку справили!.. Знаешь ты про меня, что и я про тебя. Не поймаю — не вор. Иди, слушай, чего ветер наскажет!..

Ульяна родила в сентябре девочку. Через трое суток после родов вдова уже работала в поле — выпахивала остатки картошки. Брови Ульяны слегка сблизились, лицо стало очень строгим; похоже, что на натянутых вожжах держала она и сердце свое, и мысли. И в те минуты, когда она, истомленная всяческой работой, кормила грудью дитя — ей думалось; „гляди, цыган, гляди, бестыжие твои бельмы!.. Не обест меня девочка, не нужна мне твоя помощь... Жри, цыган, власть, пей волю, проклятый!.. Зазрит тебя когда-нибудь совесть... А я и без твоей копейки обойдусь... Гуляй, цыган!“ Злые слезы навертывались на глаза, но была какая то щемящая сладость в мысли о том,



что, как дуб, крепка она, баба, в своем решении, и от всех прячет вдовьи свои тяготы.

Но, бывает, гнется и дуб. В декабре занемогла Ульяна. Летом — осенью через силу работала, отдыха не знала — теперь и сказалась сверхсильная натуга. Тут бы на извозе подработать, все мужики в извоз кинулись, а она ослабла так, что ведра воды с колодца еле до избы доносит. С домашними делами, правда, справлялись и ребятишки, а в извоз, да еще на дальние версты малых не пустишь.

Испугалась Ульяна, поехала в город, в больницу. Во время осмотра врач расспросил вдову про ее жизнь, а потом говорит:

— Перетомила себя, матушка, перетомила. Все у тебя на месте и как полагается, да только — сила из тебя выкачана здорово, надо снова копить. Не лечение тебе нужно, а отдых. Отдохни месяца четыре — к лету опять силой нальешься, поздоровеешь. Телосложение у тебя — богатырское!

— Где уж мне отдыхать! — вздохнула Ульяна: — Мне в извоз надо, а не то к весне с семьей жрать будет нечего.

— В извоз тебе ни под каким видом нельзя, — сказал врач, — в могилу себя сведешь. Прищи себе помощи, дотяни как-нибудь до лета, а в извоз не ходи. Я тебе удостоверение о состоянии здоровья дам, а в сельсовете возьми об имущественном положении: толкнись с этими бумажками в волостной совет — там тебе укажут, что и как делать.

— Попытаюсь, что уж тут, — сказала Ульяна без особой надежды.

В велосном совете секретарь так и этак повертел в руке подписанную врачом бумажку и сказал:

— Тебе теперь по двум линиям надо игти. Первая линия — волкрестном, — указал он на стол в десяти шагах от себя. — Вторая задача — волженорганизатор, — указал он на другой стол, в пяти шагах от себя.

Председатель волкрестнома, в замызанном пиджаке с продранными локтями, беспокойный в движениях, долго пилил вдову за то, что она не состоит членом комитета, а потом пообещал выдать ей в ближайшее время десять рублей. Ульяна поблагодарила и села на скамье у стены, под покоробленными плакатами, дожидаться волженорганизатора.

Вскоре пришла бабенка низкорослая и худенькая. При взгляде на нее Ульяна подумала: „Из уезда прислана сюда, не иначе“... Бабенка посадила Ульяну на табуретку рядом с собой, вопросы сыпала визгливо, переходя быстро от одного к другому, не дослушивая ответов. И были среди вопросов такие, что цеплялись за самую подноготную: от кого родила ребенка, призвал ли его отец, какие у отца доходы. Допрашивала бабенка так решительно и с таким властным видом, что вдове и в голозу не приходило отмалчиваться или лгать. Вывернув вдове наизнанку, худенькая визгущая вскочила со стула и, обратившись лицом к плакатам, хлопнула себя ладонями по бедрам:

— Вот, то-то мы и есть — дуры! Вот то-то на нас и едут, кому не лень!.. Да чего же ты в комитет за десяткой тащишься? Тебе к соблазнителю игти надо!.. Что ж, он то, в сторонке потешаться будет?.. Хочешь, чтоб ему стыдно стало, на твое лихо гляючи?.. Дождешься, как же... Нет, ты задорную глупость свою брось, если детям беды не хочешь. Требуй от него помощи, да не грошовый, а законной!.. Огкажется — в суд подавай!..

— Тошно мне к нему игти, — сказала Ульяна: — говорить надсадно. И деньги от него брать немоготу — умереть легче.

— Ну, и не говори, и не бери... Сразу по суду оформим: и крепче, и тебе спокойней, и деньги будешь получать отсюда—вроде как бы пособие.

Бабенка взяла лист бумаги и застрочила пером угловато, но быстро. Потом она заставила вдову подписаться (труднейшее для Ульяны дело!) и сказала:

— Насчет свидетелей я сама разужнаю, в селе завтра наведаюсь. Ты только помалкивай про заявление.

И в самом деле — на другой день визгуша заехала в село с какой-то анкетой, обошла добрую половину мужичьих изб, и будто между прочим, заговаривала всюду о вдове и о кузнеце. Многие словоохотливые мужики и бабы наговорили столько, что свидетельских показаний хватало бы на пяток судебных дел.

Через две недели в избу к кузнецу пришел председатель сельского совета Михей Прокопич.

— Повестка тебе, свет, — сказал он, копошась рукой за пазухой и глядя не то насмешливо, не то сожалеюще: — в суд требуют. Насчет алиментов.

Кузнец, сидя в лавке, растопырил руки и ноги; нижняя челюсть его отвисла.

— Уль...яна?.. — выговорил он с трудом.

— Она, свет. Навострила ее волостная баба заступница. И выходит так, что дело твое теперь — решоное. Заступница-то здесь была, да выпытывала все про тебя с Ульяной, и кто ей что говорил — всех в свидетели выставила. Отпираться теперь — себя в яму валить. Так то, свет. Завтра к десяти часам тебе являться — в волость то. Распишись в получении.

Весь день и весь вечер Василь Палыч не находил себе покою. К полночи он, захватив топор, клещи, лом и маленькую лесенку, вышел из избы и направился к кузнице. Село тонуло во сне, в холоде, в безмолвии. Василь Палыч приставил к кузнечной стене лесенку...

Утром проснулись мужики — диву дались: была накануне кузница за селом — и нет ее! Бревна тесной клеткой сложены вокруг горна и покрыты досками. Даже конский стан разобран. Председатель сельского совета, как увидел это разорение, так руками всплеснул:

— До чего-ж баба довести человека может!.. Совсем руки подшибла!

Михей Прокопич таил немалую неприязнь к вдове. Года три назад пытался на задворках прижать Ульяну, да наскочил на оплеуху. Зудела временами старая обида.

\* \* \*

В волости на суде народу было порядочно. Из села пришло по вызову восемь человек. Кузнецу, когда он вошел, зашептали со всех сторон:

— Сознавайсь уж!..

— Все одно — дело теперь явное... как на ладони...

Кузнец сдержанно огрызнулся на этот шопот, но втайне сознавал, что и в самом деле заpiresательство бесполезно. Недаром „заступница“ разговоры по селу собирала. Будешь отнекиваться — в конфуз себя, как раз, введешь: может быть, кто-нибудь самое стыдное видел. К тому ж, говоря, девчонка и носом, и глазами, и лбом — в него вылита.

Ульяна сидела исхудавшая, бледная, подтянутая вся. На кузнеца она не взглянула ни разу до тех пор, пока судья не спросил его:

— Признаете вы себя отцом ребенка, рожденного гражданкой..

Тут вдова исподлобья настороженно покосилась на Василь Палыча. Он встал, тряхнул головой и выпалил:

— Признаю. Чего тут... Мое мастерство...

На задней скамье кто-то фыркнул. Ульяна чуточку вспыхнула и потупилась. Судья, ожидавший, что кузнец будет долго отнекиваться от отцовства, растерянно, деланно закашлялся и потом промямлил, как плохой докладчик:

— Ну, теперь... хм... остается, согласуясь с имущественным положением, определить...

Василь Палыч снова поднялся.

— Кузницы у меня нет, — сказал он громко: — нет кузницы!

— Погоди, погоди, — взволновался судья, — во-первых, я не спрашиваю про кузницу, а во-вторых, имеются сведения...

Василь Палыч вспомнил разговор свой с Фрол Фомичем и натужно проговорил с чужого голоса:

— Прикрыл... это... это... за без... бездоходностью...

Судья вопрошающе смотрел на свидетелей. Они ерзали на скамьях, сопели, кашляли. Потом раздались голоса:

— Он это верно...

— Нету у него кузницы...

— Была, а теперь не стало.

— Сломал... до стану сломал!.. Хоть приезжайте глядеть для забавы!..

Ободренный этими возгласами, Василь Палыч заговорил снова:

— И выхожу я теперь — бедняк из всего села. Лошаденка дрянь, телка до молок не доросла, земля без навозу голодная, да и той — клок... Чего с меня взять?..

— Найдем, — сказал судья без достаточной уверенности, и повел секретаря и заседателя на совещание. Совещались долго, изнывая над гиблыми статьями тощего хозяйства, и вынесли решение: пятишник в месяц взыскать все же следует.

Когда прочли судебный приговор — кузнец спросил:

— Так решение это на-вовсе и останется?

— Можешь обжаловать, если недоволен.

— А если не обжалую — так и останется?

— Так и останется.

— На-вовсе?

— На-вовсе.

Кузнец твердой поступью пошел к двери.

Лицо Ульяны не выражало ни довольства, ни огорчения. Неожиданные новые мысли нахлынули в ее голову. И пока возвращалась она из суда домой, мысли эти не давали бабе покоя.

Она думала о том, что пять рублей, конечно, все же деньги, но — ими от извоза не откупишься, всех прорех не заткнешь. А Василь Палычу, когда он без кузницы остался, пятерку эту платить трудно будет. Выходит ни ему, ни ей от суда не барыш, только народ зря взбулгачила. „Подвернулась эта визгуша в худой час!“ Впрочем, тотчас мелькнула и другая мысль: „А зачем он, цыган, кузницу сломал? От ненависти?.. Чтoб на дите платить поменьше?.. Тоже — ни себе, ни людям... Ну, и поделом ему суд, и пусть плотит!“ В избу вернулась вдова неутешенной, но жестковато-спокойной.

Утром же ее жестковатое спокойствие сменилось яростью. Мужики и бабы утром немало дивились и хохотали, увидев за селом кузницу. Вчера еще не было ее, а нынче — вот она! Стоит легкая кузница, и конский стан перед нею, а в дверях ее скалит белые зубы

чернорожий Василь Палыч. И когда только успел все в прежний порядок привести? Не без фонаря, видно, орудовал! Впрочем, работа тут пустяковая, а к тому же, наверно, помогал Мишка.

Михей Прокопич, как услышал от жены о том, что кузница, вместе с кузнецом, снова стоит в исправности — так повалился на лавку, захлебываясь хохотом. Но прохохотаться, как следует, ему не пришлось: в избу вьюгой ворвалась Ульяна. Никто раньше, во всю жизнь, не видал ее такой. Худая и бледная, она размахивала руками и истуленно кричала:

— Да я... я... до Москвы дойду! Цыганская его душа!.. Я его без малого пожалела!.. А он и тут с обманом!.. Ты... власть... председатель...

— Постой, — поднял руку слегка оробевший, но все еще с искорками смеха в глазах, Михей Прокопич: — постой, в чем суть дела?..

— Документ мне дай на кузницу вот в чем!.. На фальшь его документ!.. Сызнова в суд пойду на цыгана жаловаться!..

— Постой, постой, — снова поднял руку председатель: — пятерку в месяц платить он тебе отказывается, что ли?..

— Еще бы он отказался, чумазая рожа!..

— В чем же суть дела?

— Судья узнает — в чем! Ты мне бумажку дай! У меня день черный, мне с дитем хоть подыхай, а он будет утробу свою тешить?.. До Москвы дойду!..

Михей Прокопич покачал головой, сказал укоризненно:

— Ну, и недовольный вы народ, бабы... А и то надо сказать: не чорт вам велит с мужиками путаться!..

Ульяна откинула голову назад, прищурилась.

— А-а, вона что-о?.. А не чорт ли тебе велел меня на задворках лапать? Горько, видно, вспоминать, как по шее огрела?..

На председателя напало внезапное заикание.

— Да ты... ты... ты... — зашевелил он губами, со страхом глядя на жену, выронившую ухват и застывшую в нарастающей готовности ворваться в разговор: — я... бумажку... к вечеру... в точности...

— То-то, — неожиданно — просто, уже без задора, сказала вдова и шагнула за порог. И тотчас за ее спиной раздался истощный визг ревнивой председателевой жены.

\* \* \*

За полдень Михей Прокопич, усталый и потемневший от разговора с женой, но обдумавший события до полной ясности, пошел в кузницу. Василь Палыч держал в руках узкую и темную железную полосу и убеждал низенького белобородого мужика:

— Уж ты, дедушка, верь мастеру. Говорю тебе — не ковкое это железо, ломаться будет! Вот, прошлый раз ты приносил тягучее — хоть к окну замазкой лепи.

— Лепить то лепи, да влипать погоди, — сказал председатель с напускной строгостью и сел на наковальню с видом человека, совершившего многоверстный переход: — а коли влип — виляться нечего. — Он покосился на старика. — Вышел бы ты, дедушко, на минуту. Разговор у нас с ним будет особенный.

Старик молча и покойно вышел из кузницы.

Василь Палыч насторожился.

— Я тебе прямо скажу, — начал Михей Прокопич попрежнему строго: — ты либо кузницу сызнова ломай, либо Ульяну убоготвори. А не хочешь — должен я на тебя бумажку ей дать — за обман суда. И присудят, свет, ей, Ульяне, близко двадцатки, а тебе, неровен час,

исходящую наварят месяца на три — за неблагоприятные сведения, то есть за укрывательство. Ты кузницу укрыв? Укрыв. А укрыв — что украл. Обмозгуй это дело на-скоро, раз, два!

Кузнец недоуменно развел руками.

— Так, видь, убогатворили ее по суду... Чего ж еще... Решенье же на-вопе сделано, и соглас мой на него — полный...

— Сковырнется „на-вопе“, ежели Ульяна опять судиться задумает! Ты, свет, не артачься, сделайся с бабой по-хорошему. По суду — больше сойдет: до полного совершеннолетия девчонку на тебя на-вешат... Ты лучше окажи сейчас вдове, при таком ее положении, помогу рублишек полсотни, а там — видно будет. Не люблю я, конечно баб, а про Ульяну по совести сказать надо: хоть и ведьма она, свет, да не такой породы, чтоб от жадности карман твой сосать... А разгневаешь до отказа — тут уж всего жди, тут человек меняется. По судам таскаться — расчет малый. Смотришь, опять полсела в волюсть поволокут к народному неудовольствию. Очень народ на тебя окрыситься может!

Минут десять еще говорил председатель с кузнецом, а через час Василь Палыч с видом раскаявшегося смиренного грешника входил уже в избу Ульяны. Вдова, увидев его, кинулась от печи так, что едва не сшибла курносого Ваську, сопевшего над самодельными маленькими лыжами, к которым он привязывал бичеву. Лицо бабы вспыхнуло, и она подняла руки, как бы готовясь ударить кузнеца. Но не успела она ни подскочить к нему вплотную, ни сказать что-либо, как Василь Палыч сунул что то на голбец и, пробормотав отрывисто — „вот, Ульяна... полусоток... нужна ж помога... Еще понадебится — я ж завсегда... Моя ж девчонка... Родные ж мы... А суд — это так...“ — скрылся за дверью.

Ульяна опустила руки, прошла с неподвижным взглядом, как в полусне, к голбцу, перелистала пачку бумажек. Пятьдесят рублей. Вдова легонько — чтоб не попортить — плюнула на деньги и убрала их под лавку, в обшарканный сундучок.

— Ужли-ж и у цыгана совесть бывает? — сказала она Ваське, который, отложив лыжи, покачивал зыбку, где кричала проснувшаяся девчонка: — „Я“, говорит, „завсегда“. Не верится что-то. — Она подошла к зыбке и сказала нежно: — А нам с тобой наплевать на его то совесть. Только бы из лихой поры выбиться, а там мы ему, дьяволу, из окна копейку подадим. Пропьет когда-нибудь силушку, чумазый...

Кузнецова помога освободила вдову от извоза и от боязни остаться на позднюю весну и лето — без хлеба. В руках такой бабы пятьдесят рублей не меньше, чем в иных мужичьих — двести. Успокоилась Ульяна — и не по неделям, а по дням стала прибывать в теле. К маю налилась она краше, чем была два года назад.

Кузнец тем временем значительно похудел. Его не столько расстраивали думы о помоге вдове, сколько непослушание и упрямство Мишки. Мальчишка все неохотнее и хуже справлял бабьи свои дела. На упреки и подзатыльники отца он огрызался, — а однажды пригрозил даже:

— Уйду я от тебя, куда глазаньки глядеть. Либо бабу заводил для стряпни, либо сам стряпай... Больно мне надо добра этого!

И Мишка ненавидяще швырнул в подпечье сковородник.

Кузнец надрал мальчишке уши, но крепко с этого дня призадумался. „И впрямь — тошно парню, чего тут!.. Перед всеми товарищами конфуз. Сколько ни бейся, а придется бабу в дом вводить... Кого бы это в работницы приискать похосходней?..“

В самый разгар мыслей о приискании работницы Василь Палыч встретился за селом лицо к лицу с Ульяной. Шла она дорожкой мимо льняных полос, опущенные глаза темнели чуточку горькой задумчивостью. Вспомнила вдова, какие длинные ледяные сосульки свисали в марте с крыши; пророчили они—длинный лен. „Намнут бабы уйму, всю зиму прасть будут. А у меня до льна никогда рученьки не доходят, все на мужицком положении маюсь. Кабы жив был покойный Семен Федорыч!.. Судорожно вздохнула Ульяна, подняла глаза и остановилась, как вкопаная.

— Здравствуй, Ульяна Родивоновна,—сказал Василь Палыч, сняв картуз и низко кланяясь.

— Здрав... ствуй,—сказала вдова нерешительно, словно не зная, как ей вести себя с кузнецом.

— Как Маруська-то. Ульяна Родивоновна? Пищит?... Не требуется ли чего для ее, для девчонки то?..

„Ишь, цыган... думает про Маруську то!“—туманно-радостно колыхнулась кровь во вдовьем-материнском сердце.

— В довольстве Маруська, за ей четыре няньки... со мной то...—сказала баба обмякшим голосом, с улыбкой, но тотчас, словно поймав себя на недопустимой слабости, сдвинула брови и добавила деланно холодновато:

А начет помощи, нужда будет—тебя не обойду. Твоя кровь.

— Во-во, моя кровь!—подхватил кузнец весело, сам не понимая, чему он радуется.

Вдова пошла к селу, кузнец—к лесу. В голове Ульяны вновь зашелестела мысль о долгом лъне, но была она теперь связана как то с только что виденным лицом Василь Палыча.

Кузнец, приближаясь к лесу, все меньше думал о приискании работницы. Встреча с поздоровевшей, полногрудой Ульяной опрокинула его смутные намерения, направленные к раскрепощению Мишки от бабьих дел. И, вместо того, чтобы повернуть перед лесом в деревню Щелканку и там подыскать сходную работницу—кузнец круго зашагал обратно в село.

\* \* \*

В ближайшие недели мужики и бабы заметили, что кузнец вновь стал лнуть к вдове. Он старался встретиться с ней на улице и на задворках, и заговаривал всегда одинаково—вопросом о девчонке: „Пищит? Не требуется ли ей чего?“ Ульяна отвечала сдержанно, строго, но не резко. Однажды она сказала:

— А поглядеть то тебе на свое дите не хочется разве?..

Кузнец изобразил на лице готовность самую восторженную.

— Да я, Ульяна Родивоновна... хоть одним глазком! Не смею я... В избу не смею...

— Поди уж, чего туг,—сказала вдова и сама проводила кузнеца в избу. При виде красного детского личика Василь Палычу хотелось легонько ругнуться, но он, вместо того, с посылочкой ласковой улыбкой осторожно ткнул девчонку растопыренными пальцами в бок и сказал — „Ишь, смеется тожа, такая окалина!“—хотя Маруська не смеялась, а плакала.

В один из ближайших дней к кузнецу зашел Михай Прокопич. Председатель сердито швырнул картуз на лавку, глядел быком.

— Ты чего ж это... опять Ульяну охаживаешь?... Опять, свет, на рожон лезешь? Опять миру неприятность из-за тебя терпеть, по судам шландать? Уж коли на грешную точку дело у вас пошло, оженитесь бы да и жили по-людски—хонь вам без спотычки, закрюм без переводу!..

— Тем концом дело и загибаю,—умиротворяюще сказал Василь Палыч:—Пропaday моя разлюбeзная свобода... Без бабы изба не век стоит, а лучше Ульяны бабы не сыщешь. Только, вот, как она...

Вечером, когда разошлось по дворам пригнанное из вырубкн голосистое стадо, Василь Палыч отправился к вдове. В те часы его почему то потянуло к ней, как никогда. И казалось, что именно нынче, сейчас же нужен решительный разговор...

Ульяна была во дворе, собиралась доить корову. Сидя на низкой и короткой скамейке, вдова смазывала маслом коровьи соски. Не прерывая этого занятия, она искоса погладела на появившегося в раскрытых воротах кузнеца.

— Море под корову, Ульяна Родивоновна,—сказал он как-то и задумчиво, и торжественно.

— Спасибо, Василь Палыч, — торопливым голосом занятого человека ответила баба:—На Маруську поглядеть пришел? Ты бы днем лучше...

Кузнец смущенно переступил с ноги на ногу, безуспешно поискал для торжественного случая особых слов и, будто летел под откос, выпалил:

— Я... это... Ульяна Родивоновна... жениться пришел... На тебе жениться.

И смолк, отвернувшись, вытирая потный лоб.

Вдова ерзула на скамейке, блеснуло и звякнуло о коровье копыто упавшее ведерко. И будто зашатались, застучали, посыпались связанные корьем прясла. Закудахтали на насесте сонные куры.

Ульяна хохотала, охватив ладонями живот, дрожа всем крепким телом, и сквозь хохот рвался ее низкий, захлебывающийся голос:

— Жениться?.. Здесь-тка?.. Ха-ха-ха!.. Вокруг столба!.. Ах-ха-ха!... Замест венца—ветеръ на голову... Ах, цыган, ах-ха!..

Кузнец, нетерпеливо дергая пальцами бороду, ожидал, когда вдова призатихнет. Дождавшись этой минуты, Василь Палыч заговорил почтительно, но веско. Он говорил, что только теперь вплотную разглядел Ульяну, что ему лучшей хозяйки не сыскать, что, вообще —то, бабе без мужика и мужику без бабы жить никак невозможно. И так как они теперь родные через Маруську, то и надо им свое родство на-крепко завязать, а из двух изб смастерить одну. В одной избе дела будут всякому подходящие, всякому свои,—не то, чтобы бабе—мужичьи, а мужику—бабы. Многие еще говорил Василь Палыч и в заключение добавил, что он готов хоть завтра же итти с Ульяной в совет.

По мере того, как вдова слушала кузнеца, она становилась все серьезнее и внимательней. Медленно—чтобы не шуметь—подняла упавшее ведерко, с такой же осторожностью поправила под собой скамейку. Когда Василь Палыч смолк, Ульяна сказала и упрекающе, и жалостливо:

— И что мне с тобой делать, не знаю?.. Кабы не был ты допреж такой подлый цыган!..

— Ульяна Родивоновна, — умоляюще воскликнул кузнец, — кто старое помянет...

Отходчиво бабе сердце. Нестерпимо вдове одиночество, особенно при виде крепкого мужика. Память женская на обиду простодушной дитяти затихает под лаской.

— А, ведь, я тебе строже покойной Василисы буду, не дам вольничать да верховодить,—только и сказала Ульяна.

Василь Палыч вздохнул покорно—„где уж там верховодить“—и почуял на своем затылке вернувшийся через четырехлетие наблюдающий взгляд.

Ульяна подняла ведро с явным намерением оборвать разговор и приступить к дойке.

— Так ты заходи завтра, часов в десять... На моей Находке в волюсть то с'ездим.

— Ладно,—кивнул головой кузнец, шагнул за ворота и, взглянув на небо, добавил громко:

— Ишь ты, ни одного облачка! Сушь стоит не по времени. Крепко дождичка надо!

— Да, надо дождичка,—глуховато, как из подполья, отозвалась со двора вдова.

Дома Василь Палыч медленно и грустно оглядел избу, как бы прощаясь с нею, потом достал с божницы, из-за иконы, откупоренную бутылку водки и, налив почти полный стакан, выпил залпом. Дверь отворилась, вошел Мишка с парой чуть вялых веников.

— Михайло, брось!—крикнул Василь Палыч сыну.—Отбавилась ты вчистую. Ни тебе стряпать, ни полы мести. Так и скажи хахалям-приятелям: отец, мол, женится...

Веники упали на пол и сипло зашумели под неистовыми прыжками Мишки. Через полминуты мальчишка с испуганно-радостным криком выбежал из избы и, спеша поделиться новостью прежде всего с отъявленным насмешником Егоркой Полозовым, помчался к нему мимо колодца, мимо посизевшего Игнатьевского сруба, мимо избы Ульяны.

Ульяна в это время внесла в избу ведро с молоком. Молоко пенилось на-редкость пышно. Вдова, взглянув в ведро и, вспомнив последние слова кузнеца, подумала:

— Быть дождю.



# Тебе

(ПОЭМА)

ПАВЕЛ НЕЧВАЛЕНКО

I.

Для меня пришел конец твой.  
Годы перекинь,  
Перекинь и вспомни детство—  
Тихий шум реки.

Вспомни: крепкой дружбы ялик  
По речушке дней  
Нас катил и мы не знали  
Ничего родней.

Я люблю свое былое,  
В памяти оно  
Не лежит сухой золою, —  
Светом зажжено.

И порой, когда не занят,  
Время — абазур  
Подниму, былых мечтаний  
Свет я нахожу.

И гляжу, гляжу...  
... Так тихо  
Тикают часы...

Эй, ты, детские шумихи  
Помнишь, чортов сын?

Помнишь звали дружбу честью,  
Не снося измен?  
Изменил, платили мезтью,  
Были злее змей.

Помнишь? А?...  
А впрочем, что же,  
Ты теперь другой,  
Жмешь собой супружье ложе  
И живешь собой.

Комсомольская ячейка!  
Был ты в ней. Ушел  
Тихо в теплую семейку  
С тепленькой душой.

За разбитую бутылку —  
Что в „госспирт“ нести —  
Коммунистов, дома с жинкой,  
Яростно костить.

И случится:  
В схватке жгучей,  
Полночью глухой,  
Буду ранен и измучен,  
И для всех чужой.

Я по улицам, по черным,  
Буду отступать  
Черной тенью...  
Ночь упорно.

Дикая слепа...  
Слабым, кровью истекая,  
Проклиная тьму,  
Подкрадусь, едва ступая,  
К дому твоему.  
Постучу...

Былого друга  
Ты узнаешь вдруг.  
С языка сорвется ругань  
И сожмет испуг.

Ты не красный и не белый  
И боишься всех.  
Вздрогнешь:  
„Как? Ну что мне делать?  
Задрожишь совсем.

И зашмакаешь пугливей  
— „Не пустить?... — Пустить?...  
Кровь кругом! кровавый ливень!  
Хоть бы он-то стих...

Э-э, бессмысленная рожа —  
Зложивчий сор,

Не дрожи, не потревожу  
Твой мещанский сон!  
Я не нищий и не жулик.  
Предпочту скорей  
Револьвер с последней пулей—  
Конуре твоей.

I.

Дни пройдут...  
Придет победа,  
Властно прогремит,  
И, как клячи,  
Сдохнут беды,  
Сдохнет старый мир.

И планета сбросит траур—  
Стовековый гнет,

И под песни, крики: „Браво!“  
Смехом зацветет.

Все, кто тело за свободу  
Отдавал без дум,  
Т на праздник всех народов  
Бело пойдут.

В г одах, в раздолье пашен  
Это торжество  
Всю планету опояшет  
Красною листвою.

Будет праздник бодр и светел...  
Ты не будешь тут.  
И тебя твои же дети  
Трусом назовут.

## Дм. Семеновский

К жизни, грубой и злой забияке,  
Мы приходим с открытой душой.  
Так дитя подбегает к большой  
Посаженной на цепь собаке.

Мы беззлобны. — Но — первый укус,  
И уже мы кусаемся сами.  
А, пройдя весь житейский искуc,  
Люди смотрят сердитыми псами.

Из-за кости какой-нибудь  
Псы заводят кровавые грызни.  
Так и в нашей бывает жизни, —  
Всем нам общий указан путь.

Жадный брюхом ложится на кости.  
— Вырвать их и отдать на всех!  
Пусть на место собачьей злости  
К нам придет человеческий смех.

## Моей жене

(С немецкого)

Я шлю улыбку грусти нежной  
Твоим рукам неугомонным.  
О, пощади их, друг прилежный!  
Дай отдохнуть глазам бессонным!  
Не ты-ли целый день томилась  
Среди фабричной духоты?  
Зачем-же, милая, склонилась  
Над пенистым корытом ты?

Суббота! Кончена работа.  
Ко всем приходит отдых сладкий  
И только ты должна без счета  
К одеже пришивать заплатки.  
Ты подкрепиться сном не хочешь,  
Как будто он тебе во вред:  
Все суетишься, все хлопочешь,  
Губя весны своей расцвет.

И в воскресенье, в день покоя,  
Когда другие копят силу,  
Ты шьешь иль, над корытом стоя,  
Даришь досуг воде и мылу.  
Вот солнце двойником жар-птицы  
Садится спать в туманный луг,  
А ты, мой друг, чулок и спицы  
Не смеешь выпустить из рук.

---

## Утро на болоте

П. КРАЙНОВ

Печальный лес кругом обложен  
В молочный утренний туман,  
Раскинувшийся над болотом  
Как самотканый сарафан.  
Дубняк зацепистые лапы  
Воткнул в лесные берега,  
От прелых листьев — пряный запах,  
С осин летит вороний гам.  
И расторопно спозаранка  
Над лесом стонут журавли,  
Воротит душу наизнанку  
В тоске неведомой кулик.  
А в камышах густых, высоких,  
Ночной порой кричат сычи,  
В воде зеленая осока  
Таращит острые мечи.  
В зеленой плесени — налете,  
Шелковый вышитый узор.  
С утра и до ночи в болоте  
Разнузданный лягушек хор.

.....  
Ходил я часто утром рано  
В болото с острою косою  
И разгонял тоску тумана  
С поникших от росы осок.  
Моя коса задорным взмахом  
Седала жесткую траву.  
Заря в малиновой рубахе  
Плевала кровью в синеву.  
И песней пгашек голосила  
Навстречу ведрянному дню,  
А я бродил в воде, в бахилах  
И собирал траву коню.

.....  
Вот снова красной позолотой  
Заря окрасила восток,  
Но нет уж леса у болота  
И не грызет коса осок.  
И нет подстриженной отавы,  
Следов размашистой косы,  
А воду увели канавы,  
А на земле росли овсы.  
Не слышно стонущего гама,  
Как раньше в заросли лесов,  
Звнящего веселой гаммой,  
Запели птицы над овсом.  
Я рад. И по овсам высоким  
Косою размашистой греблю  
И вместо режущей осоки  
Коня овсом я накормлю.

# Прелюдия человеческой весны

(Фрагменты)

**В** моей комнате два окна. Два окна видно немного, но я хочу видеть многое. Поэтому вечерами, когда на улице скрипят легкие сани и профыркивают авто, я сижу за низеньким столом и читаю книги. Близорукая луна заглядывает то в одно, то в другое окно, рассыпается по страницам, но ничего не понимает в тригонометрических формулах или в теории цены производства по Лапидусу-Островитянину. И когда я гашу электричество и ложусь спать, она еще шарит прозрачными, селенитовыми пальцами по столу. Но снег скрипит все мягче и мягче, а с юга иногда дует теплый ветер, поэтому я хочу говорить о весне.

— Да, это было весной.

Весной, когда сумерки плутают в кварталах низеньких домиков, а девченки чаще улыбаются прохожим...

„Безусые энтузиасты“ из владимирских школ II-й ступени с остервенением бросались сжатым курсом физики Цингера, готовясь к выпускным экзаменам, а секретарь укомола Солнцев рассылал для сведения по ячейкам план работы на зимний период...

— Когда в рабочем городке сзади прокопченного депо, в тупике, заржавевший, исковерканный, еще стоял паровоз серии „Н 6|III“, а мы, шестеро встечающих семнадцатую весну комсомольцев, чумазые как негры, возили в вагонетках уголь для кузницы и обтирали скаты паровозов среднего ремонта, потому что мы были учениками слесарей.

Это было в субботу.

А в пятницу Колька Макаров, экономист и Томский в ячейковом масштабе, на черных, захватанных, прокопченных стенах механического цеха вывесили ослепительно-белые лоскуты бумаги:

„В субботу в 3 часа дня ячейка РКСМ устраивает субботник збор возле депа“.

Чортовы гутари морозы! Они тянули из льда сосульки, развешивая их по карнизам.

А солнце сумасшедшее колосось в них радугой спектра и сосульки, не выдерживая, лопались, со звоном падая к подножию кирпичных стен в кучу обломков рельс, скатов и тележек.

— Братва!.. говорил Колька, вознесенный на пьедестал опрокинутого цилиндра, — братва, мировая революция и... по протоколу бюро нам надо выкорчевать загибший „Н 6|III“.

— Даешь! — кричали братва.

— Даешь! — кричало солнце, сломав сосульку, свесившуюся с трубы „загибшего паровоза“.

Если к семнадцати годам в организме еще не окрепли мускульные ткани, это еще не значит, что не окрепло сердце.

Сердце распорядилось мускулами и рельсы ложились к рельсам, кувалда хлопала по зубилу, целующему заклепки и они летели к чорту, потому-что весной заклепки — как соль, и швеллеровые, тавровые и двутавровые балки складывались пирамидами, очищая путь „Н 6|III“.

Проржавевшие дышла латунными, зазеленелыми подшипниками цеплялись за кривошипы, точно кузнец Чудаков, первый силач и матерщинник во всей кузнице, ухватил своими нерасцепляющими клещами.

Но сердце крепче ржавчины, — снимались дышла, домкраты ставили на место выскочивший задний скат, «паровоз» готовился в путь.

Андрей, наш секретарь, у которого золотые пальцы и голова — когда он подходил к машине, Андрей вышел из депо паровоз и осторожно, точно нащупывая новые методы работы, повел его на запасной путь к „Н 6|Ш“.

Радуюсь приятелю, визжало ржавое сцепление. 150 фунтов давление котла (давление сердца не измерено) и „Н 6|Ш“, дребезжа, потревоженный, вылез из логова к воротам, к канаве — „капитальный ремонт“...

— Точка, братва!... заорал Колька... точка. Этот паровоз еще будет катать по рельсам, воскрешенный братвой из механической ячейки...

— Если-бы был оратор лучше Кольки, то мы бы его никогда не услышали, потому-что оратора лучше Кольки не могло быть, поэтому не могло быть других речей, а была лишь одна.

Плавился бабитом в закрепленных здорово подшипниках вечер, и баянист Александра Тренин на лавочке возле клуба мучил гармонию.

Не от Александриной ли гармонию набухали клеєм почки у тополя? Не от Александриной ли гармонию трещал лед на реке?

— Валяй, Александра, валяй...

И он валяя, с переборами рывкнул баян и в двадцать глоток рывкнула песня:

... Низвергнута...

Поднимается солнце.

Песня текла по переулкам, отдавалась в рабочих казармах.

Это была прелюдия человеческой весны.

## II.

Уголь и алмаз по химическому составу однородны. Алмаз блестел у механика на мизинце оправленный в золоте, а уголь мы возили в вагонетках для того, чтобы старый, блудливый Зотыч, чернорабочий в депо мог спокойно сидеть возле железной печки и рассказывать анекдоты из эпохи своей юности.

— Шкет, ты ученик слесаря — говорил Максим-бригадир с капитального ремонта, ухватив меня за обсыпанную углем блузу, — ты ученик слесаря, но ты хорошо умеешь возить уголь, а не будешь уметь пришабрить золотник даже так, чтобы он немного пропускал...

— Пошлите старого Зотыча к его матери... и займитесь делом.

От жилистой Максимовой руки в грудь залезал мятеж, а когда мятеж моим шопотом шелестел в старом вагоне в кружке других шкетов, он породил дерзкие думы.

— Ребята! — закричал шопотом баянист Александра, — бастуем, не едем за углем, довольно Зотычу рассказывать происхождения в трех сериях с продолжением, мы должны уметь налаживать инжектора и шабрить золотники.

— Мы должны уметь ремонтировать паровозы...

— Мы...

И тогда было сказано огромное, как компаунд, все заполнившее слово:

— „Н 6|Ш“.

— Комсомольской бригадой взять в ремонт „Н 6Ш“.

— Максим, Андрей, кройте на совет нечестивых угольщиков — на третьем тупике крытый вагон — провозгласил наш посланец бригадиру капитального и секретарю комсомола, у которого золотые руки и голова, когда он у машины.

— „Н 6Ш“ — спросил Максим... да, на нем и ремонту на рыжий волос на два месяца...

— Крой, бражка — кивал Андрей, ячейка поддержит, коли падать начнете...

— Максима за главного. Андрей, да еще пара слесарей, остальные бражка...

— А я ее, курву за мягкое... стой, говорю, не уйдешь, а она — сипел старый Зотыч, развешивая портянки на трубу, — любовно и с нежностью:

— А она? — спрашивал монтер — Иван Николаевич Граммофон.

— А она чиво говорит?..

— Угля надо — сказал Семен Чудаков, черный и закопченный, как бог, появляясь в дверях.

— Котье — сказал нам Граммофон — бросьте припиливать ваши подшпипники и валяйте за углем... А она, Зотыч?..

— Мы не поедем за углем — ответил Александра, мы ученики слесаря, а напильник качается у нас в руках, как сцепление у заднего буфера, мы будем припиливать подшпипники и потому, что мы должны уметь пилить.

— Рыжий чорт — хладнокровно ответил Граммофон — в душу твою мать в печенки, в верстак... ты не поедешь, так поедут Васька с Ленькой.

— Ленька, валяй!.. — А она, Зотыч?..

— Мы не поедем за углем. Надо взять Зотыча за мягкое место, пусть он возит уголь, если он уполномочен на это, а нам довольно обтирать пузо об угольные ящики, скажи механику, что мы просим, чтоб нас всей бригадой поставили на ремонт паровоза „Н 6Ш“.

Легкое удивление проскользнуло тогда по рябому лицу Граммофона и взяв за грудки Ваську, он приподнял его легонышко, но с костным хрустом и спросил бархатно и тонко:

— „Н 6Ш“, растыка?

Да, монтер, — сказал вошедший Андрей, мы хотим этот ремонт двинуть комсомольским залогом... А Максим у нас за главного — передай это механику, монтер...

— Я тебе не ремонт, а самого за углем пошлю, Андрей — сказал Граммофон, сверкая плешью.

— Пошли, монтер, пошли, пусть у маневровой „38“ инжекторы ни тинь-тили-линь...

— Сволочь — сказал монтер, присаживаясь к печке. Бережно перевернув портянку, Зотыч сказал — „А она говорит — вот что, Зотыч.

— Сыпь за углем, старый кривошип! — сказал Граммофон.

\* \* \*

На РКК разорались...

Слушали, постановляли:

„Заявление учеников слесарей из паровозного депо“.

— Ты, механик, забыл — говорил Колька Макаров — экономист и Томский в ячейковом масштабе — забыл закон о труде молодежи — гл. XII, ст. 124 читается:

„Подростки не должны быть отвлекаемы ни на какие, не относящиеся к изучению их квалификации работы“.

— А по твоему уголь — квалификация?.. да?..

— А что-ж им делать?

— Поставь на ремонт, пусть приучаются...

— На ремонт не поставлю...

— Поставишь, механик...

— Постановили: требование учеников по закону удовлетворить. На другой день приказ механика — заплаткой на стену:

— Предлагаю ремонт паровоза „Н 6Ш“ начать с 1-го апреля с. г. Монтеру предлагаю поставить на ремонт бригаду учеников, назначив бригадиром Максима Крылова.

**Механик Яковлев.**

— И — эх, уголек, прощевайте — сказал Александра, прочитав приказ, — валий, Зотыч — говори анекдоты кузнецу Чудакову — он те скажет...

— Максим — два месяца?

— Не больше...

— Лопнем, а к первому мая как пить дадим.

— Ночи прихватим, а в месяц выпустим... выпустим, Максимыч.

— Да с вами чорта сделаешь по чертежу без допуска одной тысячной, а не то, что... ишь, за контрольные пределы манометры вашей дури полезли...

— А все-таки выпустим...

### III.

У Максима Крылова продолговатое, сухое лицо и еще суше жена — тетка Саша.

У Максима есть еще приятель Климентий Ворошилов. Когда-то вместе работали они в Луганске, вместе пошли на фронт — Ворошилов повел отряд, а Максим был командиром сотни.

Сейчас Климентий носит ромбы и звание председателя Реввоенсовета Республики, а Максим успел наделать ребятишек и высушить тетку Сашу, потому, что была у Максима одна слабость — выпивал он с начатием и окончанием каждой недели, а тетка Саша везла семью.

— Ты вот что, Максим — сказал Андрей, — когда мы приступили к ремонту, — вот что друг, поддержишься уж...

— Насчет чего...

— Насчет... глядя на лопнувшую рессору, ответил Андрей, — насчет выпивки... и видно почувствовав, что теперь легче говорить, заагитировал — сам знаешь как-никак, мы, вроде, пример теперь для депа, как-то оно знаешь...

— Знаю... Сам знаю и ладно, — нахмурившись, сказал Максим, и помолчав, добавил — значит с начатием не будем?..

— Ни-ни...

— Ну уж ежели не пить, так работать надо нажимать...

— Мы нажимали.

Вечерами, когда нежные хрустящие сумерки лезли под рубашку и, ухватив за самое сердце, тянули на плотину к девченкам, мы нажимали — шабрили золотники, притирали клапаны, заливали подшипники.



В эти вечера мы подружился с каждой гайкой, с каждым винтиком паровоза.

Теперь уж он не походил на оборванного старика, скрюченного и заплатанного, был вроде инженера в черной блестящей куртке со светлыми пуговицами...

Мы сидели и курили, тут-же на верстаке, а наш знаменитый художник Васька писал суриком звезду на крышке дымогарной коробки — впереди паровоза, которая светила-бы чорт знает куда, вплоть до социализма, когда вошел чуть запоздавший Максим.

Странно усмехнувшись глазами в сторону Андрея, он шмыгнул в паровозную будку.

— Бутылку водки приволок, робя — сообщил Александра, глянувший за Максимом, — в тендерный ящик спрятал.

— Ладью, помалкивай — сказал Андрей.

— Эй, консомолия... консомолия..., покрикивал Максим, Санька, чего у тебя фланец-то задом наперед встал, что ты, чай не на баяне клавиши перепутал.

— Андрей, погляди за Васькой с Ленькой, как они дышловые подшипники-то закрепили?

— На-ять сделано... как у Форда.

— Ай консомолия, ну закурим...

— Закурим — важно отзывается Александра, успевший поставить фланец честь-честью, да чего-то пожрать хочется, вола-бы с'ел...

— Пожрать? — смеется Максим, — а вот постой, мы так сказать, консомолия сейчас с устатку-то с окончанием... и не докончив, полез в будку.

— В мать твою, в паровоз, в консомолию... Ты, Андрюшка?.. — полез он на секретаря.

— Я, Максим.

— Отдай добро... какое имеешь полное право?.. без этого нельзя, какое к чорту окончание выдет.

Мы сгрудились вокруг Максима с Андреем, а Максим петушился, кричал и лялся:

— Вы, консомолия, меня переучивать вздумали, может меня пьяного сам нарком на закорках таскал...

— Постой Максим, — хладнокровно отбивал атаку Андрей, — постой, про обещание забыл? Мы о чем уговаривались? — чтобы ни капельки, а ты еще в депо приволок.

— Это твоя личная точка зрения, а ребятишки звсегда пойдут за то, чтобы с окончанием...

— Максимыч, врешь... загнул Максим Петрович — заблажили мы.

— Мы тебе, Максим, вернем, вот она — на, бутылку, пей Максим. но только как ты нам раньше был учитель и товарищ, то теперь нам с тобой не по пуги... мы тебе бойкот...

Максим ухватился за бутылку, но потом, когда сказали о бойкоте, он нахмурился и скороспешкой забормотал:

— Постой, постой, Андрюшка, постой, это по какому праву бойкот.

Вспомнилось Максиму, как вот так же в Луганском депо, уговаривался он с Климентием двинуть бойкот мастеру... но тогда мастер был чужой... а тут на своего.

— Постой, это как-же?.. да ребята, ведь я за нее деньги платил, али нет?.. ребята?..

— Максим, мы тебе сложимся и деньги сейчас отдадим... только, чтоб никакого пьянства.

Максим стоял в нахмуренном раздумье, потом, вдруг: А-а... мать твою в душу... р-раз... Не успели мы опомниться, как крикнула о груди старых колосников не раскупоренная бутылка.

— Во! Вот это я понимаю — заболтал Александра.

— Уйди, кот — отстранил его Максим, и, хмурясь, быстро пошел в кузню.

— Эй, Андрюшка — раздался оттуда его голос скрипучий и ржавый, — буфер готов, берите... ну, поворачивайся, поворачивайся... консомолия...

— Тэ-экс — глубокомысленно протянул Санька.

— Сволочи вы все-таки, сказал Максим.

\* \* \*

Великолепное солнце шагало по небу. Это утро несло плакаты первого мая, на демонстрацию сердец.

Палило и жгло. Наш плакат яркостью соперничал с солнцем, а буквы орали о производительности труда.

Если-бы академики, профессора медицины взялись измерить температуру наших сердец, их брови вероятно поднялись-бы выше лысин, а руки задрожали и не могли-бы записать ни одной формулы, так велика была температура наших сердец.

Так горяча была наша кровь.

Площадь, единственная в городе, была забита народом, музыканты надрывались, выдувая все свои легкие в кларнеты, тромбоны, корнеты, обложив блестящей медью огромную трибуну.

— Слово имеет... губкома партии... Ширман...

— Яков Ширман — литейщик Ширман от имени губкома партии...

— Товарищи. Мы сегодня приветствуем не только с первым мая, но и с новыми победами на фронте борьбы... Мы строим текстильные фабрики... Мы строим в вашем городе стеклозавод — гигант... Вчера я присутствовал при испытании паровоза, отремонтированного комсомольской ударной бригадой... Ребята сумели при наивысшей интенсивности труда закончить ремонт не в 2 месяца, как это полагала дирекция, а в месяц. Этот паровоз — их первомайский подарок республике... Что делалось!!! ломилось все от криков, аплодисментов...

— Сюда. На трибуну ребят.

— Даешь! — Даже Граммофон неистово хлопал в ладоши и сверкал плешью. Кто-то подталкивал нас к трибуне.

— Где Максим? Где наш бригадир? — спрашивал Андрей.

— Вот он. Я — ответил смеющийся Максим, протискиваясь к трибуне — от вас ни на шаг.

— Фф-у-ты, какой Максим. Сегодня он прицепил к праздничной блузе орден Красного Знамени.

— На трибуну. Даешь! — кричала толпа.

С расплывшимися ртами, вздохмаченные, как солнце, стояли мы.

— Вот герои сегодняшнего дня — вот... сказал Ширман.

Андрей хотел говорить, но за криками „ура“ ничего не было слышно, и только, когда стало потише, начал Максим.

— Товарищи... Мы с Климентием с Луганска на белых жали, дрейфили, а тепер, коли паровозная канава траншеей стала, когда фронт новый пришел, мы также...

— Нажмем! — закричали мы, — на-жмем!...

А в толпе стояла, сияющая, тетка Саша и рассказывала налево и направо:

— Не пил, милые, не пил... бывалочи и с начатием и с окончанием, а тут, как встал на ремонт с этими, так весь месяц ни капельки не пил...

— Товарищи! — объявлял секретарь райкомола — товарищи... в 3 часа дня комсомольцы устраивают загородную прогулку в лес... где будут игры..., чай..., на место прогулки поедем на поезде. Приглашаются все желающие... поезд ведет машинистом Андрей, секретарь ячейки железнодорожников на паровозе „Н 6Ш“.

А солнце разбивалось вдребезги о плакаты, о головы в пестрых платках и кепках, о зеленые шапки деревьев.

Шла крепкая, дружная человечья весна.

*Владимир, апрель—1929 г.*



# Ткем для мира кумачи

С. ВИНОГРАДОВ

Нам неведомы испуги,  
Старый мир — седая пыль...  
Если нужно  
Снова, други,  
В ураганном пеньи вьюги  
Вспомним огненную быль.

Вспомним  
Красные зарницы,  
В смрадной копоти поля.  
„Пролетарий  
на коня!“

Крикнем в села и станицы,  
И советские края,  
Грудью встанут на границе.

Красным заревом знамен  
Загорятся луговины...  
А пока  
Согнувши спины,  
Мы пускаем в ход машины,  
И победное все ткем.

Ткем  
Для мира кумачи.  
Заводские трубы в дыме,  
Мы руками молодыми  
Воздвигаем в этом дыме.

Нам неведомы испуги,  
Старый мир — седая пыль...  
Если нужно —  
Снова, други,  
В ураганном пеньи вьюги  
Вспомним огненную быль.



# Д о р о г и

АЛ. КИСЕЛЕВ

У меня хорошая дорога,  
Но бывает больно за родных:  
Мать моя на поводу у бога,  
Мой отец на поводу пивных.

Даже брат за кружкой пивною,  
За вином проводит вечера.  
И на век поссорилась со мною  
Горячо любимая сестра.

Ей бы ноги разузорить шелком,  
Лаковые туфельки носить.  
В переулках нашего поселка  
Ей со мною больше не ходить.

Не ходить ей на завод со мною.  
Если вздумала плясать фокстрот  
Не дружить ей с песней заводскою  
Не любить поселок и завод...

У меня хорошая дорога,  
Но и все же больно за родных:  
Мать моя на поводу у бога,  
Мой отец на поводу пивных...



## С Н Ы

Мой день в улыбках ситца  
Гуляет в корпусах.  
Но иногда мне снится  
Лесных дорог роса...  
Тогда я снова прежний,  
Попрежнему — лесной,  
Весенних песен нежность  
Тогда со мной, со мной.  
В тумане снов я слышу  
Озерной зыби звон,  
Соломенные крыши  
Плывут со всех сторон...  
Вот матушка выходит  
С кувшином на крыльцо,  
Смеется в огороде  
Отцовское лицо...  
Родные пашни манят,  
Как будто наяву,  
... В брызгах звездной рани  
Я падаю в траву.  
И вот я снова прежний,  
Веселый, полевой,  
Весенних песен нежность  
Со мной, со мной, со мной...  
И часто, часто снится  
Далеких дней роса...  
Мой день в улыбках ситца  
Гуляет в корпусах.



## Из цикла „Плодородие“

Н. КОЛОКОЛОВ

В этот край плодоносный, спокойный и дикий,  
Будто яблоки, сыплются смуглые дни.  
По полянам, лесам — огоньки земляники.  
Обрастают грибами замшелые пни.

И поют над шиповником дикие пчелы,  
И снуют в ненасытном труде муравьи,  
И развесили птицы в тревоге веселой  
На деревьях и гнезда, и песни свои.

Приделались зеленою шерстью осины,  
Отражаются в чащах полесских озер —  
И белы на березах бересты холстины,  
Где разбойную метку оставил топор.

Пусть недавно поляну снега пеленали,  
И деревья сгибались в метельной пыли.  
Ныне лес животворными соками налит,  
И корнями кусает ковригу земли.

\* \* \*

Как долго солнечным запоем  
Захлебывался огород!  
Как сладко наливался зноем  
Подсолнуха янтарный рот!

И теплые дожди летели,  
И гром клубился вдалеке,  
Чтоб ныне крепкотелой спелью  
Хрустели овощи в руке.

До позднего глухого часа  
Сбираем бережно, как хлеб,  
Моркови розовое мясо,  
Литое мясо смуглых реп.

И веет твердой спелью той же  
От всей тебя, в летах литой:  
От смуглой и упругой кожи,  
От груди жаркой и крутой.

В мешки собирая сыть земную,  
Проходишь спелая — и я  
Так радостно и крепко чую  
Тепло родимого жилья!

## Молодняк

Где крепкий хвойный дух расплеснут,  
Где ветер ветви полоскал,  
Где под железом смертоносным  
Кричали о пощаде сосны —  
Густеет шум молодняка.

Дрожит, как песенная кипень,  
Листвы и хвои юной сеть.  
И вновь шмелиный звон просыпан,  
И вновь на неокрепшей липе  
Жуку тяжелому висеть.

Волну древесных слов проколет  
Иглою тонкой писк зайчат.  
Дождями и лучами полит,  
Тучнеет молодняк на воле,  
И травы струйками журчат.

На пне еще чернеет свиток  
Полуистлевшего корья.  
А в ветках бродит сил избыток,  
И льют цветы густой напиток,  
И бьется сердце бытия!

---

## Беременная

Такие осторожные шаги,  
В глазах — такая тихая забота:  
Бесценный груз всечасно береги  
И бойся каждого крутого поворота.

В упругой колыбели живота,  
Колелемой дыханьем и шагами,  
Какая ласковая тяжесть разлита  
Какими теплыми волнами!

И по лицу скользит предчувствий след,  
И опрокинут в сердце взгляд хороший.  
И бережней ее шагов под солнцем — нет,  
И нет прекрасней — ноши!





# В город

В. НОВОЖИЛОВ

Вешний полдень в солнечной истоме,  
Задремал на легких камышах.  
Пристань в говоре и смехе тонет,  
Тонет пристань в бабах, в мужиках.  
Говорила русая сестренка,  
Что поля с ячменем и овсом  
Голубой, березовой сторонки  
Позабуду в шуме городском.  
Захотелось накрепко утешить:  
„Ты поверь мне, милая сестра,  
Осень в холод не овеет межи,  
Как из города вернется брат.  
Справим избу. Купим к зиме телку.  
Не тоскуй, родная, не тоскуй,  
И плескались волны втихомолку  
В легких раковинках по песку.  
Тихо, тихо солнечные зерна  
Пали в кудри сизые раки...“  
Пароход, махая гривой черной,  
Голосил за выгибом реки.



## Ситцевая грусть

НИК. ОРЛОВ

Загрустилось по трубам фабричным  
По любимой моей стороне.  
Эх! шагать-бы, шагать-бы нынче -  
По Ивановским улицам мне...  
Там наверно гудки голосистые  
Утром так-же все песни поют  
Наших девушек платья цветистые  
Шорох ситца в себе берегут.  
Здесь-же рокоты синего моря...  
Берег в пене, как будто в снегу  
Не хочу нынче с сердцем я спорить,  
Стоя здесь на крутом берегу.  
Опущу я тихонько ресницы,  
Точно шторы на белом окне,  
И пускай сердце маленькой птицей  
Улыбается каждой волне.  
Эх! шагать-бы... шагать-бы нынче  
По Ивановским улицам мне  
Загрустилось по трубам фабричным  
По любимой моей стороне...

---

# Порченный

Рассказ

А. ХРЕНОВ

Майские дни всегда радостны и через край полны солнцем. Куда ни погляди—езде солнце! Золотыми нитями заплело оно черемуху, тает в воде его медовая зрелость, и как хорошо бывает купаться в Белице! Холодными обручами стягивает вода тело, колотится загнанное сердце, а нужно обязательно плыть. Белица стремительна, и сопротивление — приятно.

Сиверко сдернул рубашку, но так и остался на берегу. В Белице плескались десяток гибких тел. Сиверко тоже пришел купаться, его заманили, хотели развеселить, он, уступая товарищам, дошел до речки и остался один. Было хорошо и так, без рубашки, а плескаться в воде? — Вот если-бы не тоска, может и Сиверко был бы весел.

Три года назад приехал Сиверко на Белицу. До его деревни дошли слухи, что лесопилка снова пускается, и так как Сиверке в ту весну пошел девятнадцатый год и был он в семье — третьим мужиком, то и выпало на его долю искать работы на стороне.

— Дома мы с Филькой управимся, а ты на сторону подайся, на ноги поставил — сам ходи! Это было отцовским советом и неизбежностью, постигавшей не одного Сиверко. Из больших семей — всегда кто-нибудь был на стороне.

— Чужая сторона — мачеха! Ласки не жди, хорошего добивайся, в нашем роду дураков еще не было, бог миловал — это было отцовской заповедью.

Сначала мучила зависть к оставшимся дома, затем это сменилось тоской. Но в большой, новой семье, среди заводской молодежи — тосковать было некогда. Одолевая себя, Сиверко не ездил домой — знал, что делать нечего, только сердце бередить. Да и далеко уехал он от родной Сосневки!

Но весной неодолимая сила тянула его к земле, к цветам, к солнцу — будто сам он расцветал! В такие дни Сиверко убежал на Белицу, на береговую опушку, лежал на лугу и ненавидел завод густой как деготь мужичьей злобой. Редкие письма из дома хранил он ревниво и весной перечитывал их в десятый раз.

Письма были всегда одинаковы, с бесконечными поклонами и с утешением, что „живем слава богу справно, не хуже людей“...

Раз из письма выпал, из'еденный потом крестик — материно благословение. Умерла она без Сиверко. Он взял крестик, попестал его на руке. Вспомнил о матери, как о маленьком ребенке, но чтоб не оскорбить ее памяти — сунул крестик в „статьи и речи Ленина“ — и там хранил.

Вскоре получил Сиверко письмо с новым поклоном „от Настасьи Карповны“ — молодой Филькиной жены — приведенной на смену матери — к печным ухватам и осиротевшей корове.

— Сколько перемен без меня, с'ездить надо-бы, — думал Сиверко и с тех пор эта мысль надоедливо чесалась в голове, не давая покоя.

И сейчас, лежа на берегу, Сиверко, не видел темного и мягкого как ковер леса, он даже не любовался, как всегда, Белицей, которая серебряной ниткой заплелась в этом ковре, не замечал он и плывущие по Белице плоты в залив. Он приятно щекотал свою думку о поездке домой.

На другой день, Сиверко вышел на работу веселым. В его глазах — афишах светилась радость, и даже растрепанные волосы оказались причесанными.

Казалось ему, что и мрачный завод широко улыбался распахнутыми окнами. А широкие ставни махали солнцу, будто звали его в гости. В заводе стоял визгливый шум пил. Пилы встречали дерево звериным рычанием и, увязив зубы в смолистом теле, урчали — как сытые щенки. С белых как полотно тесин капала пахучая сосновая кровь.

Тес на вагонетках увозили в штабеля. А в короткий отдых молодежь каталась на них.

Сиверко выходил из конторы — его окружили.

— Ну, как? — Все знали, что Сиверко хлопочет об отпуске.

— Дали, завтра еду! — радостно бросил он.

— Времячко тебе досталось золотое, что делать-то будешь? Эх! гулять теперь хорошо! — сами себе отвечали парни.

День этот тянулся нескончаемо долго. А вечером, когда несложные сборы были окончены, Сиверко сел почитать, но голова делилась на-двое, одна половина уносилась в Сосневку, а другая бессильно старалась понять читаемое. Сиверко бросил книгу. Открыл окно. Из маленького палисадника дурманящим ладаном кадила липа. Лес притих, и в темноте казался распухшим до неба, а потому страшным, но на опушке его — кто-то играл на гармошке и страх проходил.

\* \* \*

На знакомом полустанке, где поезд останавливался только для того, чтобы дать свисток к отходу, — Сиверко выскочил из вагона.

Ничего не изменилось за три года — даже доска, перекинутая через лужу, показалась Сиверко знакомой.

В мечтах своих хотел видеть Сиверко изменившуюся, как и он, Сосневку, но деревня попрежнему стояла тесно и беспорядочно — как вспугнутые овцы, столпились дома, и даже круглый сосновый бор ничуть не изменился. Только голые, сухостойные сосны, как седины проредили зеленую его бороду. Поле, в рыжих кучках навоза, казалось большой спиной земли, усыпанной гнойными волдырями.

— Опоздал я к севу, навозница началась — догадался Сиверко.

В деревне, встречая солнце, кричали петухи, но еще издали заметил Сиверко отца. Он смазывал телегу.

— Не спится старику, — любовно подумал Сиверко и радостно крикнул:

— Здорово, отец!

Матвей выпустил оглоблю, которой подпирал телегу и почему-то снял картуз.

— Северьян! Ах, ты! Гляди-ко!... Он растерялся. Борода его, как клочек выжженного солнцем белоуса, задрожала.

Поседел старик, — думал Сиверко.

— Совсем не ждали, а он, на-ко ты, как яично, выкатился... Айда в избу... торопил Матвей, увидев, что Сиверко поставил чемодан на дороге.

— А Филька спит. Разбудить надо, — догадался он и, взяв оглоблю, забарабанил в сеновальное окно.

— Филька! вставай, Сиверко приехал!

Филат высунул голову с охапкой сена в волосах, и увидев брата, махнул в исподнихах прямо из окна. Он сжал мягкую руку Сиверко в своих замозоленных вилами ладонях.

— Вот и хорошо — как раз навоз возить поспел! — неловко пошутил он.

Втроем они пошли в избу. Широкая деревянная кровать занимала пол-избы.

— Клопов наверно много, — подумал Сиверко. И на минутку ему показалось, что в избе пахнет именно клопами.

— Да, как это ты, сынок, надумал-то? — спрашивал Матвей, когда уселись за весело попыхивающим самоваром.

— Что, аль не рад? — Незванный гость хуже татарина?... — А ты не сердись, я шучу, — оправдался Сиверко, увидав, что отец нахмурился.

Сиверко говорил о своей работе, о заводе и о тоске по дому.

— Земля, сынок, к себе манит — вот и тоска, пожевать хочется ее, кормилицы! — вставил Матвей.

Филька, занятый чаепитием, молчал. Рядом с Филькой сидела Настя. Сиверко едва узнал задорную и красивую девченку в этой опустившейся в покое бабе. Его и раньше поражало это несоответствие: замужем все опускались, забывали умыться, похоже было, что снимали с себя маску красоты — будто доходили до предела и спокойно, безрадостно несли на себе взваленный судьбою груз. В уме Сиверко отметил, что на Белице так не бывает и обрадовался этому превосходству.

— А сколько получаешь? — неожиданно спросил Филька, оторвав губы от блюдечка, будто надоевшая эта мысль давно просилась выплеснуться.

Сиверко понял, о чем думает брат, он взглянул на его лицо, запаленное, как самовар, и пожалел, что похож на него, как яблоко, выросшее на одной ветке. Только вышло так, что Филька со всех сторон был обласкан солнцем, а Сиверко спрятан был под листик — и где же брату понять, что его тоска не продается на деньги!

— Немного, — уклонился Сиверко от ответа.

Потом отец проводил Сиверко на сеновал.

— Отдохни, сынок, а мы навоз наваливать!

Прошлогодний пыльный клевер казался Сиверко зеленым лугом. Так давно он не спал на сене!

Проснулся он поздно, когда солнце увязило свои лучи в бесчисленных щелях двора. С сеновала было видно Филькину широкую спину. Рубаха на нем дымилась. В просторных ладонях вилы ходили так же проворно, как у Сиверко напильник. В простых своих движениях Филька походил на медведя. Рядом с ним Матвей — был как точно выверенная машина, так он расчетливо и экономно работал. Настя, увязившая голые ноги в коричневой жиже, не отставала от Фильки, но это давалось ей трудно — будто не она управляла вилами, а вилы упрямо боролись с ней.

— Сколько они просолили рубашек? — подумал Сиверко.

— Ну-ко я попробую по-старинке! — он взял у Матвея вилы.

— Да ты, никак прямо — в камашах? — Иди перескинь, — посоветовал Матвей.

Сиверко смутился — новые его ботинки покрылись ржавчиной.

— Совсем ты на нашинского не похож. — Ну какой из тебя мужик? В этих дудочках по тротуару стегать, а не навоз возить, продолжал Матвей.

При этом в Филькиных глазах заметил Сиверко усмешку, а Настя не удержалась и фыркнула.

Сосневка распахнулась на все ворота — будто растеряла деревня пуговицы. На улице висел сладкий навозный запах. Так притормо пахнет в церкви, где запах ладана смешивается с духами и потом. Беспорывно, огромными жуками ползли телеги. Не торопясь шагали мужики.

— Нно! Кормилица!

И не поймешь, кто кормилица; лошадь или телега, нагруженная навозом.

Матвей, желая хвастнуть перед сыном — говорил:

— Глянь, Сиверко! — Лошадку-то обменяли мы летось. Не конь, а мать родная! На спине с бабой ночуй. Да — телку на лето пустили.

Но Сиверко не находил у себя той радости, — когда он мальчишкой, задорно сообщал ребятам:

— А у нас пять ягненков! И если кто-нибудь говорил, что у них — шесть, то Сиверко настойчиво врал: — А у нас еще двоих принесет!

— Чувствовал Сиверко, что все это сделано без него, но изнутри поднималась невытравленная еще мысль — „Моя доля — тоже есть!“.

И мысль эта в союзе с родившейся внезапно завистью к Фильке и его покойной и постоянной жизни — не давала Сиверко покою. Когда Филька уходил с женою спать, ему тоже хотелось завести себе такую же вот, клопинуую кровать.

Прошла неделя. Как-то Матвей с тревогой спросил его:

— А ты как, сынок, совсем, али на-побывку?

Старик долго не решался спрашивать, но досужие соседи надоедали ему догадками.

— Раз на рабочую пору приехал, знамо совсем... И на зиму останется, — утверждали они.

— Это, значит, гнездо раззорить — думал Матвей. Без Сиверко все шло хорошо. Филат был полным хозяином и Матвей, довольный своим сыном, — решил в тепле дожить свои дни. А останется Сиверко, нужно делиться. И вместо прежней любви — поднималась у Матвея злоба на Сиверко.

Сиверко молчал. Матвей повторил свой вопрос.

— Погляжу, может останусь!

— Останешься? — переспросил Матвей.

— Я говорю — подумаю. А чего ты испугался? На твоей шее сидеть не буду.

— Шея у меня теперь тонкая. Сам на чьей-бы отдохнул... Ну, думай, сынок! — примиренно закончил он.

По вечерам стал Сиверко пропадать. Уходил он на гулянку к сосновому бору. Молодежь сначала сторонилась „городского шеголя“, но скоро признала в нем своего и все к нему привыкли. Ребята жадно слушали его рассказы.

— Эх! Много ты нахватался, оставайся совсем — девку тебе самую хорошую уступим!

— И в председатели выберем!

— Филька его не пустит!

— Фильку отделить можно! — утешал кто-то.

И в голове Сиверко все более утверждалась мысль — „остаться“. Совершенно не замечая, что не только отец тревожно следил за ним, но и Филька встревоженный Настей за свой покой — дулся на брата.

— Филька, люди поговаривают: не совсем-ли вернулся братец-то? — шептала она ночью. — Выгонит тебя из дому — вот и дери на чорта крупу, ты горбом ломишь, а он нагулялся — к готовому пришел.

— Мелешь ты, баба, не дело, — успокоил ее Филат, — но в ту ночь не мог уснуть до света.

— С той ночи он следил за Сиверко, — будто ждал, что скажет, — „пора собираться“ — и гора с плеч.

В избе стало тихо, как перед грозой. При Сиверко все ждали грома, будто гром носил он в себе.

— И вдруг все кончилось. Гроза прошла стороной, отведенная опытной рукой Матвея.

Как-то Филька с нетерпением спросил отца:

— Уладить надо, отец, а то руки опускаются. Работашь, думаешь на себя, а тут...

Сиверко любил по вечерам сидеть на крыльце, привычку мечтать он привез с Белицы. Только там на Белице — мечта о Сосневке была далекой, а здесь он дома.

— Пошлю на лесопилку письмо, скажу, что отец умер. А потом совсем останусь! — думал он.

— Сынок! — оборвал его мысли Матвей. В голосе Матвея слышалась просьба и тронутый этим Сиверко пригласил его:

— Присядь, отец. Хорошо на улице. Как в мытой избе — чистой пахнет!

Матвей сел.

— Чистотой! Это верно, — весна заботливая хозяйюшка. Ну, что... надумал? — неожиданно ожег его вопросом Матвей.

— Чего?.. А, это!.. Надумал... Останусь, хорошо, у вас тут тихо.

Сиверко слышал, как дрогнул Матвей и голова его опустилась в плечи.

— Уходи, сынок! Отца пожалей! Уйди! — он молил, будто просил милостыню. Но затем, найдя точку, он заговорил, твердо и поучительно:

— Не уживешь ты здесь. Человек ты порченный. Сам не уживешь и другим не дашь. Филька корни здесь пустил — его не выдерешь. А выдерешь — хозяйство подсохнет!

Слова Матвея били по Сиверкиным мыслям — как из дробилки бьют по мирно плавающим уткам, и мысли вспугнутые улетели, но Сиверко поймал одну и с надеждой за нее ухватился.

— У меня корни тоже здесь!

— Нет сынок, свои корни ты в кармане носишь. Куда ты — туда и корни с тобой. Отрезанный ты ломоть — как к караваю ни приставишь, все отвалится — уговаривал Матвей. Филька только на ноги встал, а ты его под коленку бьешь!

Сиверко встал. Ему хотелось обнять отца. Но он только положил руку к нему на плечо.

— Порченный — говоришь! — Это верно. Но только я теперь здоров. Спасибо, отец, вылечил!

Матвей не ожидал, что так легко кончится и невольно подумал о сыне.

— Сердцем места ищет, а не умом.

На утро Сиверко уходил из Сосневки. Он торопился — проспичил отпуск. Он не мог понять точно, что произошло, но радовался полному отсутствию тоски.

Войдя в сосновый бор, Сиверко вспомнил, что забыл посмотреть на Сосневку. Вернулся и встал на опушке.

По густо-зеленой озими пыльным половиком протянулась дорога. По ту сторону деревни зрели на солнце навозные кучи. Было совсем тихо, казалось Сосневка проснулась, но лежала еще под одеялом и от ее дыхания поднимался к небу дым. Дым толстыми канатами подвизывал как бы деревню к небу.

— Если бы крикнуть в эту тишину! — думал Сиверко, — свернулась бы от испуга дорога, порвались канаты из дыма и всполошенная Сосневка выскочила бы из под одеяла!

— И эту тишину я любил!

У него шевельнулось разочарование. Издалека, с Белицы, любил он Сосневку, но когда взглянул в ее равнодушное лицо, то будто понял, что он не первый у нее любовник.

Он жадно посмотрел еще раз, будто фотографируя Сосневку, и пошел так легко, как ходят, сбросив с себя ненужный груз.





# Провинция

В. УСТИНОВ

Рассвет хватает жадно кисть,  
И горизонт нежней атласа,  
И вот на землю пролились  
Тона оранжевые красок.  
Провинций утро хорошо:  
Пестреет сотнями косынок  
И манит грудами решет  
Богатый ягодами рынок.  
Радужно двери распахнув  
Ларечков,

лавочек

и лавок,

Ночную тишину смахнув,  
Уселось солнце за прилавок.  
В толпу проникните, сюда —  
Уж если вам локтей не жалко —  
Охотно счастье карт отдаст  
Сентиментальная гадалка  
Пройдите вправо: на ковре  
В почти средневековых латах,  
Ты позавидуешь игре  
Слепых, бродячих акробатов,  
Смотри: за ветошью икон,  
Оплакав старенькие гнезда  
Хоронит хриплый грамофон  
Больные праздники уездов.  
Я вам советую купить,  
(Чтоб этим помнить полустанок),  
Вон ту заманчивую нить  
Слегка поджаренных баранок.  
Лучей полуденную медь  
Бросает солнце вам на лица,  
Никак нельзя не посмотреть  
В глаза веселой продавщицы.  
В стихах я бережно ношу  
Грозу лирических пожаров  
И этот своеобразный шум  
Провинциального базара.  
Я полным голосом пою —  
Стихи хранят веселья принцип.  
Ласкала молодость мою  
Весна фруктовая провинций.  
И вдруг — гуденье на углу  
(О кто-бы радость понял, кто-бы)  
Хорошей восточкою в глушь, —  
Весной пропахнувший, автобус.

## Война вещей

Свой век прожив под крылышком судьбы,  
Кладя на все особенные меты,  
Бывают люди в старости слабы  
На суету,

на сплетни,

на приметы.

И, с вожделем, слышанное взяв,  
Смакуют слух с поспешностью зловещей...

Порой готовят тысячи облав,  
Плесенью покрывшиеся вещи.

И в сумерки, что сыростью полны,  
Нагиск их невыносимо меток

И ждешь кровопролитнейшей войны

От сундуков,

зеркал

и статуэток.

Кто сказал, что вещи те мертвы?

Если в каждой безделушке редкой,

Вижу отпечаток головы

Некогда умерших предков.

Если в полночь, отряхая плен

Тесных, позолоченных багетов,

Спрыгивают в тишине со стен

Сотни разложившихся поэтов

И истошным голосом кричат,

Кулаками потрясая страшно:

— Ты ведь наш от головы до пят,

А поешь все время не о нашем.

— Для кого ты рассыпаешь пыл,

— Днями не под силу груз дан;

— О тебе церквами загрустил,

— Похороненный тобою Суздаль.

— Уходи к черемухам в сады

— Песни петь о первом зацветании

— И дускать голубоватый дым

— Головокружительных мечтаний —

Чудаки, какие чудаки!

Слушать вас, я не могу без смеха,

По волнам взметнувшейся реки

На ладье далеко не уехать.

По иному строятся года,

По иному в них шагаем все мы,

Оторвав от сердца навсегда

Вами приготовленные темы.

# О с е н ь

Н. ЧАСОВ

Отгуляли оси  
На полях под тяжестью снопов...  
Вновь идет затравленная осень  
С табунами серых облаков.

Уж листва ложится золотая  
На дорожной смоченой пыли.  
За моря и горы улетаю,  
Надо мной гогочут журавли.

Эх, возьму любимую гармонь я,  
Выйду в сад, где на посту своем —  
В синей шляпе пугало воронье  
Полосатым машет рукавом.

Разольюсь я песнею и смехом  
Под прощальный шопот тополей.  
Будут песни резвою утехой  
Забубенной юности моей.

Ветер, ветер, молодой соколик,  
Не сдержать тебя на поводу!  
Ты лети в желтеющее поле  
Целовать полынь и лебеду.



## На заработки

ДМ. МОЗЖУХИН

Провожали меня межи  
На завод.  
Поклонился вечер свежий  
У ворот.  
Обливали липы медом:  
— Добрый путь.  
Шепчет рига за ометом:  
— Не забудь.  
Всхлипнул ветер в теплом поле:  
— Друг ты мой,  
Ты-ли нашей недоволен  
Стороной?  
Милка руки уронила  
На плечо,  
Прямо в губы говорила  
Горячо:  
— Ты с другою на чужбине  
Не водись!...  
Росы с лозами в ложбине  
Обнялись.  
Ой, вы, липы, с белым медом.  
В волосах,  
Станьте тесным хороводом  
В полосах.  
Ой, ты, ветер, бестолковый  
Пустозвон,  
Будет мне родным и новым  
Небосклон.  
А ты, милка, кровь родная,  
Проводи:  
Ждет дорога столбовая  
Впереди!



## Прошедшее

Будили апрельские звоны над Волгою ночь.  
В ту ночь полюбил я впервые купецкую дочь.

Прошли ледоходы... Остыла батрацкая кровь —  
Богачка плевком подарила меня за любовь.

Пурга октября замела добровольцем в Сибирь,  
Обиду свободой лечила соленая ширь.

Мы шли Иртышем и настигли обоз беглецов,  
С высоких телег снимали попов и купцов.

В толпе разношерстной в платочке землячку узнал,  
Буран Иртыща на висках ее кудри трепал.

Надеждой — что будет жива — засветилось лицо  
И мне протянула с руки дорогое кольцо.

За все: за кольцо, за плевок, за столетнюю ночь  
Кусочком свинца подарил я купецкую дочь.



## В своем краю

АРС. ЧЕРНЫШЕВ

Ход тише, город ближе.  
Свисток.  
Вокзал.  
И вот...  
И вот, — я снова вижу  
Свой заревой завод.  
Я моря не жалею,  
Я морю не пою,  
Ласкаю и лелею  
Я родину свою.  
Любить ничто на свете  
Не буду горячей,  
Чем родину советов,  
Поэтов  
И ткачей.  
Что может быть чудесней,  
Чем новых буден звон,  
Чем праздничные песни  
Станков и веретен?!  
Мой край!  
Как много смысла  
Быть сильным, молодым!  
... Взгляни: уже повисли  
На яблоне плоды...  
Бодрее говор троек,  
Работа — горячей!  
Мы кружевом постройек  
Нарядим край ткачей.  
... Я моря не жалею,  
Я морю — не пою...  
Ласкаю и лелею  
Я родину свою!

---

# Как исчезла с лица земли деревня Слониха

## мих. шошин

После легких трудов мужики деревни Слонихи сели отдохнуть на только что просохшей лужайке у межевого столба. Они палили сечу под посев репы и ржи... Со всех сторон подоженная сеча, десятин в двенадцать, металась огненным озером в бурю. Черный дым взвивался громадным черным жгутом.

— Шибко здорово горит, — сказал Евсей Теткин, любуясь разливом огня.

Мужики вели ленивый, заученный разговор, который бывает после каждой мирской работы.

— Так как же, мужики? — громко провозгласил большебородый Осип.

Все свертывают курить, прикуривают, пышат дымом и долго молчат.

— Кумекайте, мужики, об деле-то, — нарушает это молчание серый старик.

Мужики начинают пошевеливаться, сопеть, но молчат.

— Ну, говорите о деле-то! — понукает черный мужик в жениной жакетке.

Молчание.

Степан, по прозвищу Евдоха, мужик горячего характера, вспылил:

— Пить — так все нападутся, а зачинать — так их нет... Кто бы за них начал...

— Что ты огрызаешься — без тебя зачнут...

— Чего тут думать-то — все ясно... 28 рублей мирских денег есть? Есть! Ну и показывай им кузькину мать...

— Член, вытаскивай деньги...

— Вытащил... К кому посылать-то?

— К Анютке Печалихе — первеющий вырабатывает она самогон.

\* \* \*

Четвертные, ведро с холодной водой и корзинка с закуской стояли пустые, а дело до песен еще не дошло.

— Это только нам носы раз'ело, — сказал обиженно мужик в одних подштанниках.

— Только раздразило...

— Што шесть четвертей на такую гвардию...

— Тимпиратуры даже не прибавилось.

Лаврушка Грункин, бойкий тридцатилетний мужик, только еще два года назад отделившийся от отца и теперь старательно облаживающий хозяйство, заерзал, снял шапку, почесал в голове, надел, потом почесал в затылке и, покрасневшись от смущения, сказал заискивающим голосом:

— Мужички, вот што я вам скажу... Этот перелесочек давайте-ка дернем... Все равно его надо на-снос — траве мешает... Я бы вас и уважил... Деньги у меня есть.

Минутка мертвого молчания.

— Это, ребята, умно сказано...

— Перелесок этот ни к чему...

— Ежели разделить его по домам, то по сажени не достанется...

- Есть о чем говорить; двадцать берез, да тридцать осин...  
 — Не перелесок это, а так, — гривка...  
 — А сколько дашь?  
 — Да четвертной дам.  
 — Ну, поди к бабе проспись, а потом придешь. Гривка-та поря-  
 дошная. На бедность твою и уступаем.  
 — Да, тут порядком дровец выставишь... Я бы, пожалуй, взял, —  
 сказал Евдоха, но к его словам никто не пристал.  
 — А сколько же вы просите?  
 — Полсотни!  
 — Это уж вы лучше ограбьте меня.  
 После длинных разговоров, судьбу перелеска решило лаврушкино  
 согласие на сорок рублей.

\* \* \*

Пока молодые мужики и „член“ бегали в деревню получать  
 деньги, доставать самогонки и покупать закуски в потребилровке,  
 оставшиеся, нескладно распевая удалые песни, разбрелись по „пали“  
 поправить и разбередить огонь. Шевелили костры, поджигали пни.

- Иван, глянь, у тебя лапти загорелись, ха-ха!  
 — Вот бы сварить чего... Живо бы на таком огне.  
 — Братцы, зайца спалило!  
 — Ишь, косою чорт, как ни ловок, а захватило...  
 — Вить вон как полыхало — как не захватить!  
 — Это он, наверно, дрых — вот его и захватило.  
 — Проспал, косою чорт, жисть-ту свою...  
 — Ка-а-кой большой, — русак, видно...  
 — Его сейчас поджарим на закуску...  
 — Давай выпотрошу...  
 — Сварить лучше.

После долгих рассуждений сошлись на том, чтобы сварить в том  
 ведре, в котором принесли воду... Варили на громадном костре.

Потом принесли самогонки. Пили и закусывали кусочками зай-  
 чатины, густо посоленными. Аппетит у всех после выпивки разыграл-  
 ся до того, что даже кости обглодали.

\* \* \*

На другой день в деревне с утра было невесело... Мужики  
 кряхтели в сенях и горницах; болели головы с похмелья, ломило  
 у многих все тело и нельзя было дотронуться до синяков, потому что  
 вчера три раза принимались драться.

Боронить и „орать“ выехали только к полудню, порядком на-  
 пившись чаю.

Егор Метелкин дремал и кряхтел на лужайке в конце полосы,  
 а его одиннадцатилетний „помощник Саньтя“ боронил на тугобедром  
 Чаплане. Санька, бредя за бороной, глядел по сторонам, призывно  
 свистел и пронзительно кричал — звал щенка двухмесячного от гончей  
 Найды, что подарил ему учитель Валентин Семеныч, потом, под'ехав  
 к отцу, сказал:

— Тять, а Букетик-то у нас пропал... Со вчера нет... Нигде  
 нет — ни дома, ни в поле. Я вчера в село в библиотеку ходил, а он  
 за тобой все бегал.

Отец побледнел, глаза почернели и стали страшными, он хотел  
 что-то сказать, но не смог... Потом неуверенно встал, ходил взад  
 и вперед по загону и, ухватившись крепко за телегу, „поехал в Ригу“



Потом Санька видел — отец ходил от мужика к мужику, что-то говорил, и от его сообщения некоторых тошнило, а другие зло отплевывались.

\* \* \*

Весенний вечер скучно проводил время: чего то искал, хотел ласкаться с зарей, но не осмелился... Тихая заря долго и истово красовалась перед ним — ждала и, не дождавшись его ласк, свертывала свои наряды. Над зарей высились синие, белые, голубые, черные громады, похожие на горы, и сельчанам казалось, что они живут не в утлой равнине, а в красивых горах. Человек десять домохозяев сидели на завалинке избы Власа Застрялова и жадно курили махру.

Над огородами, что впереди, пролетела утка, заботливо куда-то спеша. На реке до того громко квакали лягушки, что мужики временами морщились и ругались.

За деревней играла гармошка наяристо, а частушка из-под нее кричала на тишину:

Милка, белевский платок  
Боле не повязывай.  
Меня ранят из нагана,  
Раны перевязывай.

Это комсомольцы, коих в Слонихе было четверо, уходили в село на собрание.

Вокруг было тихо и темно. Бросив цыгарку и аппетитно сплюнув, Влас протянул:

— Лаврушка-то што делат... а!

Мужики тяжело и горько вздохнули:

— Што получилось-то! Эх-хе-хе...

— И гривка-то была небольшая...

Молчали. Вздыхали. Долго глядели в заречные мутные дали, будто искали там затерянного своего разума и улетевшей в тот далекий день сметки.

— Не перелесок ведь был, а так, — гривка...

— А набралось дров-то порядком...

— Чаш-ша была в середине-то.

— По две бы почти сажени на дом вышло...

— Двенадцать пятериков Лаврушка-то выставил. А он зимой в городе по 30 рублей получит...

— Как мы прозевали? Ох-хо-хо!

— Надо, братцы, хлопотать, чтобы назад, потому как это народное достояние пропадает.

\* \* \*

В уземуправлении с утра толкались: Влас Застрялов, Егор Метелкин, Степан Евдоха. В одиннадцатом часу они подошли к столу, над которым было написано „Инспектор лесов“.

— Ну, в чем, граждане, дело?

— Да мы насчет лесу... Ну, валяй, Влас, рассказывай — у тебя складнее выходит завсегда, — сказал Евдоха.

— Да нас вот кулак, Лаврентий Грункин, надул... В пьяном виде мы были, а он к нам и подкатился... Продайте, говорит, деньги у меня, вишь, слободные есть. За сорок рублей мы и завалили ему так гривку, вроде перелесочка... Думали немного дров тут выйдет, а тут чаща в середине-то оказалась... Не рашитали... Да пьяным-то што? Весь лес пропьешь — не увидишь как! Кулак-то двенадцать пятериков выставил.

Инспектор лесов, уездный землемер и еще кто-то прикинули на бумажке. Оказалось, кулак Лаврушка зимой выручит две тысячи рублей.

— Как же это вы проспали? Ха-ха-ха!

— Да, ваше степенство, мы были в пьяном виде.

— Пьяных долго ли обмахнуть?

— Если бы вы сами срубили гривку, да зимой дрова продали — так трактор на чистые бы денежки купили.

— Вот, про то и мы...

Землемер хлопнул себя по лбу:

— Вот что я вспомнил... Это вы на попойке собаку с'ели?

Мужики переглянулись и от тяжелой неловкости вспотели. Влас выдохнул:

— Нет — это не мы.

— Какая-то деревня Букинской волости. Той деревни мужиков дразнят „слоны“. Вы из какой деревни-то?

Влас покраснел и еще больше вспотел:

— Мы-ы из Солнышкова.

Метелкин и Евдохин, чтобы не мешать Власу врать, отвернулись и разглядывали плакат „Корми скот по нормам“.

Посоветовали им подать в суд, да зайти к прокурору, чтобы на срубленный лес наложили арест.

\* \* \*

Собрались на сход у пожарного депо и расселись на баграх и на бревнах кроткие и замкнутые.

Открыл собрание комсомолец Васька Чаев, прошлый год осенью пришедший из армии и зимой женившийся.

— Так с вашего позволения начнем. Вы, отцы, теперь провалились и проштрафовались. Теперь мы свое слово скажем: так жить нельзя. Нас засмеяли. Давайте дело поправлять. Давайте деревню на новую дорогу выводить.

Мужики заговорили:

— Проходу нам нет тепереча.

— Пройди чужой деревней — орут вслед: слоны собаку с'ели.

— Слоны две тыщи пропили.

— Прямо таки запозорили — рожки нельзя никуда показать.

Мучительное дело вывозить честь деревни.

Думали и горевали до тошноты в голове.

— Вы, комсомольцы, сами действуйте... Мы теперь ни к чему — хошь зарывайся живьем, вся жизнь наша опозорена...

— Стару жисть надо на-сломе, — гаркнул Влас Застрялов.

Тут и пошло. Комсомольцы и начали плановать:

— Дрова лаврушкины продадим, трактор купим, зимой избу-читальню построим, перейдем на девятиполье, организуем в деревне комсомол. Авторитет деревни всеми мерами надо налаживать. Мы не позволим...

Только к вечеру было составлено заявление:

В Букинский ВИК.

„В виду того, что нас задразнили „слоны“, „слоны“, и еще потому, что мы переходим на девятиполье, широкополосицу и покупаем трактор, просим переименовать нашу деревню вместо бывшей Слонихи — Новая Верта по имени реки Верты, которая давно протекает мимо нас“.

Под заявлением стояло десятка три подписей-каракулей и десятка два крестов — дар неграмотных.

## Д О М

Рабочий по двору Федор Дулов летними вечерами после чаю садился на порог боковушки, где он снимал за четыре рубля угол, расправлял широкие плечи и вытирал рукавом вспотевшее, загорелое скуластое лицо. После этого, наслаждаясь каждым своим движением, он вынимал папиросы „Пушку“, насыпанные в коробку „Сафо“. Вынув папиросу, бережно закрывал коробку и долго стучал мундштуком о крышку. Затем, достав спички и зажав их в руке, временно застывал и долго смотрел на небо, изучая движения облаков.

Выяснив виды на погоду, Федор зажигал папиросу. Попыхивая дымком, он суживал большие серые глаза и смотрел на соседний дом.

На углу этого дома висела горкомхозовская железка „дом № 49 Купреянова Г. С.“.

Купреянов нынешней весной, по выражению Дулова, „ушел в могилевскую губернию“ и теперь о страдной, горькой его жизни напоминала лишь синенькая железка... Да и этот благородный писк ее Федор беспощадно думал заменить лет на пятьдесят другим: „дом № 49 Дулова Ф. М.“.

Купреянов, вернувшись с гражданской войны и поступив на фабрику, женился на плотной прядильщице и порешил строить дом. Строил он его три года, забывая весь заработок в постройку, питался кой-чем в сухомятку и нажил малокровие и катарр желудка. На третий год постройки дома, зимой его положили в больницу и признали язву желудка.

Одинокий Дулов после смерти друга-соседа почувствовал, что засияла над новой слободкой его звезда, только, знал он, надо действовать по ее мерцанию.

Дулов сейчас на охоте за счастьем. Он не спускает глаз с окон и двери дома.

На крыльцо нового дома вышла широкая женщина, блаженно позевывая и потягиваясь.

В это же мгновение окна соседних и противоположных домов загрузились лицами любопытствующих на федыкины успехи.

— Евдокея Иванова, с теплым вечером! — рассыпается Федор.

— Ну и тебя туды-же, — снисходительно отвечает женщина и садится на порог.

— Соснули что ли после смены?

— Соснула...

— То-то заметно — профиль свежий.

— Покойник-то снится?

— Замаялась. Когда снится, так вся и вздрагиваю.

— В вашей то натуре тяжко... Вишь вздрагиваете.

— Вздрогну и еле отойду.

— Да-да-да... Вздрагиваете?

— Вздрагиваю.

— А чечас куда, Евдокея Ивановна, собрались?

— Вышла продышаться.

— Да-да... Продышаться — это умно. Погода райская... Уведрилось... На небе ни одного лишнего облачка, — тычет он рукой в осмотренную им заблаговременно высь.

Прядильщица молчит и выясняет — хочется ей чаю или не хочется, сейчас самовар поставить или погода. Федор пугается ее молчания и хватается за самую верную соломинку.

— Евдокея Ивановна, так вздрагиваете? — кричит он.

— Вздрагиваю.

— Да-да... вздрагиваете... А вы, чтобы не пужаться кладите когнибудь с собой.

— И то уж кладу с собой постоялку.

— И все равно снится?

— Снится...

— Я вам прямо скажу, Евдокея Ивановна, постоялка тут не помoga. Вить все равно вздрагиваете?

— Вздрагиваю...

— Да-а-а... Дохтура за это вас не похвалят.

— Так что же я поделаю, Федор Митрич?

— Только уж для вас скажу — раз покойник снится, значит, он, Евдокея Ивановна, требует себе замену. Уж это верно... Требует оттого и вздрагиваете.

Вдова плотоядно улыбается и встает. Новый дом смеется над Федором вечерним солнцем в окнах.

— Пойду самоварчик вздуну.

— Самоварчик — это умно, — подхватывает Федор: — я тоже еще не пивал... Он минуту ждет ответа, но видя, что женщина поворачивается к двери не отвечает, и палит последними:

— Одной то, поди, и днем-то страховито?

— Страхо-овито...

— Вздрагиваете?

Прошипела дверь.

Федор чувствует, что выдержал тонкий блестящий разговор. вытирает рукавом вспотевшее лицо, закуривает, и храня нервную напряженность, собирает всю смелость.

Он видит из трубы поднялась струйка дыма, вдова накрывает на стол.

— Махнуть к ней... Чего тут... Разом, — решает Федор и вдруг расправляется, как разжатая пружина — в окне лениво, призывно два раза тряхнулась рука. Федор бросается в свой угол, сует в карман две недели тому назад припасенные на этот случай бутылку спотыкача и поллитра водки и в один миг перелетает переулком.

Простая, насмешливая жизнь открывает окна соседних домов:

— Какое Феде счастье...

— С такой мордвой, да прямо в новый дом.

— Большое счастье не за копейку.

— Ну теперь Овдотья разведется семьей.

— Эх, Купреянов, Купреянов, — вздохнул кто-то.

## Речь Калинина

Радио у нас заправдуннее было. Год тому назад нам шеф подарил—память ему вечная. Установили громкоговоритель ребята от шефа, да с тех пор и не бывали. Радио действительно сначала пело и разговаривало. Мужики сначала считали это приспособление за обман ума, но тут наткнулись на Ерофея Чиркина. Высокий, как жердь антенны, старик Ерофей, прослуживший в царской гвардии в Москве семь лет, пояснял:

— Эта машина ученого устройства. И тут такая махинация получается—наши московские в главном театре говорят, а здесь слышно. Воздух от театра волнуется и это волнение на проволоку садится и в парат идет.

Радио послужило мало. Стало говорить тихо, шипеть, потом заговариваться, как человек с ослабшей памятью.

К осени совсем испортилось: хрипит, взывает, как наши пьяные мужики на сходе. А мужики наши правду в вине захлебнулись—пьют и самогонку гонят. Из волости нам пишут: что это, дескать, вы, ребята „глазами хлопаете?—Ваше село по пьяному делу на первом месте. Мы приняли пожарные меры. Село заахало перед такими объявлениями:

„Доводится до сведения, что починение радио произведено. Завтра в пять часов вечера самолично про наше село будет говорить центральный товарищ Калинин. До него об нас дошли вести“.

Мужиков собралось не меньше, чем на сход с ведром вина. Радио зашипело, чокнуло, немножко повыло. Мужики вздрогнули.

Сочный голос, как и всегда сказал сначала:

— Алло... Алло... Слушайте. Слушайте. Сейчас про село Синие-Кочки будет говорить Михаил Иванович Калинин.

После этого голос пожиже заговорил ехидно и наставительно.

— Здорово, синекочкинские мужички. Большой привет вам. Сегодня у меня до вас дела имеются. До меня дошло сообщение, что довольно хреновато вы живете. Изба-читальня у вас худая, чинить вы ее не думаете, а на нас с севера надвигаются морозы. Довольно это стыдно с вашей стороны.

Крестьяне стояли, как ельник в знойный летний полдень, сосредоточенные и хмурые.

— Надо ее зачинить,—продолжал Калинин:—тогда есть куда будет зимой выйти и узнать, об чем думает наше правительство и как трещат по швам буржуйские земли.

А с какого же это вы богатства, мужички, пьянствуете? Вы пропилы полораста рублей мирских денег и гоните почем зря самогонку. Республика переживает мученье в зерне, республика возводит культуру, а вы ей вредите, как последняя темнота. И еще скажу—почему вы облебастрили пастуха Ермила? Обещали ему сапоги кожаные купить, а так и провели время и надули. Тута-ли Евсей Шапкин?

— Здесь я,—ответил Евсей и смертельно побледнел.

Нельзя, Евсей Митрич, бить жену, как она есть гражданка и созпательнее тебя. Смотриай, Евсей, добьешься до колонии. С молодежью, граждане, не ругайтесь, а живите в дружбе, как это есть залог социализма. Если не подравняетесь, то я вас попотчую декретной статьей, каковую ожидать не советую.

Теперь, когда изба-читальня починена и пастуху вручены обноски, купленные мужиками за семь рублей, когда первое место по пьянке уступлено другому селу и Марья Шапкина стала забывать про синяки, можно сознаться, что говорил речь не Калинин, а Василий Архипыч Маткин, сидя за переборкой в шкафе. Крыл он по бумажке, составленной на собрании актива.

Обидно нам стало на отсталость и дурость Синих-Кочек и потому речь получилась не хуже центральной. Маткину актив пожал руку. — Он сельский портной, самый лучший в Синих-Кочках, актер и кандидат партии — ходит на партийные собрания в волость за девять верст.

## Время

СЕРГЕЙ СЕЛЯНИН

Дни и ночи — погоня  
Тонконогих коней.  
Эти быстрые кони —  
Словно сонмы теней.

В беге  
неутомимом  
Пролетают они,  
Развеваются дымом  
Отгоревшие дни.

От утра до заката  
Только виден их след.  
Но — увы! — для возврата  
Мы не знаем примет.

Крепко времени стремя  
И туги повода.  
Остановится время?  
Никогда!

Никогда.

# Фрески

(В пивной)

М. ЛУКЬЯНОВ

В этом доме никто не жил,  
Да и не было этого дома...  
Настороженные камыши  
Берегут зеленеющий омут...  
Молчалива густая вода  
Под ладонями спящих кувшинок...  
Не спускался никто никогда  
По заросшим извилам тропинок...  
...Грузно вваливаясь гурьбой  
И над столиками сутулясь,  
Обокраденные судьбой  
Выплывают из марева улиц.  
Тяжко падают кулаки,  
Забывшем наливаются взоры...  
Разжигают сердце угольки  
Мимолетных минут фантазеры.  
Им ведь тоже смеялась вода,  
Розовая огнем на рассвете —  
Но никто уж не помнит, когда  
Был он радостен, молод и светел...  
Голубое им вычернил дым,  
Облепил их асфальт тротуаров, —  
Оттого хоть на миг молодым  
Хочет сердце плеснуть ударом!  
...В белом ялике под мостом  
Кем-то брошены старые весла...  
Со стены улыбается дом  
Расцветающим чьим-то веснам...  
...А за столиками, в дыму,  
Солью слез посыпая речи,  
Нищих душ помертвелую муть  
Миром вод нарисованных лечат...  
И грустят со стены камыши  
О невыпитой ласке черемух  
И о том, что никто не жил  
В этом доме в зеленой тиши,  
И что не было этого дома...

# Курганы

(Песня)

М. АРТАМОНОВ

В степь, цветами браную,  
Вышла под обрыв.  
Алый за курганами  
Плыл зари разлив.  
И бедой налитая,  
Взор кидает в степь.  
Там, в дыма повитая,  
Спит курганов степь.  
Белой бандой смятая,  
Степь курится та  
И лежит распятая,  
В боль перевита.  
Говорила тихая  
Утренним ветрам:  
Для чего ты, горюшко,  
Повстречалось нам?  
Я не справлюсь с силами,  
Болям нет числа,  
Для чего могилами  
Степь позаросла?  
Для чего бедою ты  
Налита по край?  
Ты, кукушка горькая,  
Годы не считай.  
Знать мне годы незачем,  
Не для чего петь:  
Как крыло подрублено,  
Птице не взлететь.  
Ты скажи мне, утренний  
Ветер, об одном:  
Где лежит любимый мой,  
Под каким холмом?  
Ты, заря, поведай мне  
И закат литой —  
Где на век схороненный  
Спит любимый мой?  
Но ветра не ведают  
И молчит закат,  
Дали безответные  
Боль не разрешат.

.....  
Ало-сине утренни  
Дали хороши.  
Тихи, целомудренны  
Спят поля в тиши.



# Персияшка

Из прошлого быта граверов

К. ЗАВЬЯЛОВ

Ивана Петровича Трелкина, гравера на стальном молете, в шутку называли „персияшка“. Миниатюрный и черненький, он оправлял в клинышек бородку, но до длинных усов не дотрагивался, хотя они мешали чай пить.

— Облачить Петровича в персидский халат, да посадить на базаре шепталой торговать,—смеялись мастеравые.

Трелкин взглянет на шутника сердито, но молчит, только с похмелья звонким тенорком обругает.

Перед дачкой у Трелкина думушка в глазах. Положит перед собой рисунок, склонит над ним голову: „Разбираюсь, де, в тенях, брызгах...“, но, озираясь как вор, он пишет на бумажке, положенной на рисунок, как истратить дачку.

Муки, крупы, масла — помечено. Машке — башмаки. Соньке — подбить подметки. Петьке — на рубаху. Аниске — чулки. Дарьке — на кофту: Ермильчу — 10 рублей, — это лавочнику за забранный в долг товар. И обязательно напишет: Анфисе, — это жене, — конфет набору, а под Анфисой пометит: вина 2 бутылки. Селедок 2 штуки. Лимон и семечек 2 фунта.

Подочтет цифры, погладит тряпочкой молет в станке, посмотрит в лупу нарезанные узоры и снова думать. Зачеркнет: „Машке — башмаки“, „Соньке — подбить подметки“ и напишет: „Воз дров“.

— А-а-х! — вздохнет, поглядывая снова на молет.

Зеркально-нашлифованная поверхность молета от „аха“ покрывается пятном пота, а на морщинистом лбу появились капельки. Скомкает смету, бросит под верстак и пойдет в курилку.

\* \* \*

Понедельник после дачки. Время к завтраку. Резец поет шмелем, спуская золотыми пружинками стружку с медного вала, а где сталь стачивает — сердито ворчит, обдирая неровный молет. Головы граверов, как у заводных кукол, ворочаются — следят, где мастер, а он ястребом за ними: „Нет-ли пьяных, за вином бы кто не шмыгнул“.

Миша, старик-хохол, вертельщик, стучит на накатной машине качалкой о шпильки. Качать тяжело. На конце баланды, длиной аршина в два, чтоб скорее вдавить узор с молета на медный вал, наложено десяток чугушных плит, да еще сидит на баланде накатчик Андрейч, привалив спиной к плитам и дремлет с похмелья. Мише надо вертеть качалкой медный вал, пока на всей золотистой поверхности вала не вдавят с молета крупные тюльпаны.

Трелкин, озираясь по сторонам, посмотрел в жилетный карман на дешевенькие часы, выписанные из Варшавы, и вытряхнул старый чай из артельного чайника. Глаза у него блестят, то и дело утирает лоб белой фабричной тряпкой.

— За ча-е-м! — вскричали альтисто мальчишки-ученики, гремя чайниками.

— Свины! Что вы орете? — закричал багровея мастер, за нарушение утреннего настроения в работе.

— Степа, ну-ко посмотрю, — обхватил Трелкин рукой молет ученика, рассматривает в лупу, что на нем наделано.

— Вот листочки так — пузастьенькие, а корешки у розочки — надо гребеночкой<sup>1)</sup> проколотить, потом прорежь — стройнее станут и краска в них лучше держаться будет... Степа, достань на соточку... голова болит.

— На старые дрожжи, Иван Петрович... разберет, мастер увидит...

— Ну, с сотки-то! До самой смерти ничего не будет... заваяжь Степа?

У Степки, если нет на сотку — у других выпросит. Давали и нарочно: весело было, когда „персияшка“ на градуссах.

В граверную принесли вина в чайнике. Трелкин опохмелился, гудит поддельным басом, уставив в Степку сияющие радостью глаза:

— Ре-ве-ла бу-ря дождь шуме-е-л...

— Ай персияшка! Анфисьюшка что-ли с прибылью?.. сколько теперь? — начинает для развлечения“ гравер-циновщик<sup>2)</sup> с усиками — колечком. Гравер этот — старый холостяк. Он залихватски танцует вальсы, польки, сороковую невесту себе подыскивает с приданым: должен быть обязательно мягкий диван, ковер к дивану, невеста должна ходить в шляпе.

— Ты хорош, гребешок, да худой горшок... Тебе надо! — закричал Трелкин тенорком — точно тарантас загремел по мостовой.

— Шептала, — осердился гравер с усиками колечком.

— Мастер! — прошептал Степка.

Трелкин посмотрел злыми глазами в спину торопливо пришедшего мастера и допил из чашки глоточек вина. Погладил тряпочкой молет и уставился смотреть в окно, в которое видно было белую облезлую стену другого корпуса, полоску голубого неба, да голубей на крыше. Усы у Трелкина шевелятся, глаза гневно светятся, вспоминается злое в жизни:

Бесом вьется перед мастером Гришка, „старший“ гравер, пишет записочки по утрам: кто опоздал 10 минут... „Сидит на резиновом кольце, как прирос к табуретке“...

— Подлец, в помощники лезет... — шепчет Трелкин.

Мысль перескочила на надоевшее поучение соседа гравера, певчего в церкви, бездетного: „Больно жить-то хорошо! Напрасно бога гневим... Вспоминай почаще его — легче жить будет!..“

— Божья дудка... — шепчет Трелкин, прищурил свободный глаз и стал всматриваться в полоску на молете из сухариков, напомнили они обидное: — „Грязно. Уголки сухариков не отчетливы... Рисунок нужен... поскорее!“ — сказал на днях мастер.

Бросил Трелкин грабштихель<sup>3)</sup> по верстаку, схватил Степку за руку.

— Брось работать... к чорту! Все равно издохнем прежде смерти!

— Мастер, мастер! — шепчет Степка.

— Что мне мастер! Видал их... Кончай работу! — закричал Трелкин.

Недалеко от места Трелкина шумел мотор. „Персияшка“ подбежал к мотору, остановил его. Всплеснули под потолком ремни и замерли. Стало четко слышно, как качает Миша-хохол тюльпаны, разнесся хохот на удалое действие Трелкина, а Гришка — „старший“ гравер, как на пожар побежал доложить мастеру.

1) Гребенка — это инструмент для наколачивания шрифта в узких полосках.

2) Цинощик — нарезает рисунки на листах цинка.

3) Грабштихель — инструмент, им режут на стали шрифт.

— Изюм, попадет тебе от мастера и жены, — пожалел товарищ по похмелке.

— Жена, жена! Что жена?.. Покуда щи наливает, семь раз на мужа лихо подумает... Кончайте работу! — гулко раскатилась по граверной команда охмелевшего Трелкина.

Мастеровые цвели улыбкой, а мастер пустил мотор и распорядился: около Трелкина появились — полицейский рыжий и большущий татарин от ворот.

— Собирайс, пойдём! — схватил татарин за руку Трелкина.

— Куда?

— Куда, куда, одэвайс! — Татарин снял с гвоздя пиджак, набросил на плечи Трелкина.

— Ты что? Вон!!! Кто тебя прислал, а? Не пьяный я!..

Трелкин сел на табуретку, стал точить грабштихель на камне — красивые искры полетели, потер молот тряпочкой и начал вертеть сигарку.

— Не скандаль, уходи... а то уведём — не поздоровится! — тронув шапку рукой, прохрипел рыжий полицейский.

— Собака я — вести ты меня хочешь... а? Вон! — показал пальцем на лестницу Трелкин, вскочив с табуретки.

— Ишь ты, велика-ли фигура-то... Берем! — вскричал полицейский.

Трелкина обхватили четыре руки, татарин надел на него картуз.

— Прочь! Сам уйду!!! — сбросил картуз Трелкин, изогнулся вьюном и вырвался.

На лбу Трелкина блестели крупные капли пота, глаза светились ненавистью. Он начал шарить руками в ящике верстака, перетрогал весь инструмент свой, а рисунок бросил на пол.

— Шапку подай! — сказал и взглянул на полицейского — сейчас вцепится.

— Какая штука важная, — улыбаясь сказал татарин и подал Трелкину картуз.

— Ай, да, персияшка!

— Все подлецы! — прозвенел Трелкин в ответ и пошатываясь, но, гордо ступая, попыхивая сигаркой, пошел из граверной. Татарин с полицейским шли за ним в трех шагах, а мастер смотрел из своей каморки, в застекленную стену, им вслед.

\* \* \*

— Батюшко, Афанасий Иванович, прости — шестеро, ведь, — кланялась в ноги мастеру на другой день, заливаясь слезами Анфисьюшка.

— Расчет, расчет... много раз прощал... — отвечал на поклоны Анфисьюшки и, наконец, говорил: „Подумаю“.

Трелкина мастер не рассчитал, прикинул: — „Работник подходящий, а пьяному мало, что в голову взбредет“. Херил расчет, но продолжал нажимать.

— С утра до обеда ты курил шесть раз. — Свињи! — кричал он, багровея, соседу Трелкина, а у него брал с верстака рисунок, смотрел написанное на нем число, когда выдан и уходил.

Рисунок нужно выполнять месяц, а Трелкин в две недели. Смейся сколько хочешь и как угодно нажимай на Трелкина в работе — он немой, только, крадучись, охает.

— Та-та-та! Та-та-та! Так, так, так, так! — перегоняя один другого, стучат молоточки у граверов и ворочаются головы: следят, где мастер.

# В пути

А. КРОТКОВ

Уныло скрипят полозья,  
Кругом серебристый лес,  
Тихонько плетусь за возом,  
Глядя в синеву небес.  
Устала моя кобыла,  
Бедняжка едва везет,  
Вся шея покрылась мылом,  
Как сноп распустился хвост.  
Ну, ну! Не вставай, дорогая,  
Уж скоро приедем домой.  
— Погасла заря золотая,  
И месяц плывет голубой.  
Вон хата родимая наша  
Под ветлами дремлет забор,  
И лампу выносит мамаша  
На ветхий, соломенный двор.  
Распряг. Обогрелся немножко,  
Глаза затуманивает сон,  
А с улицы слышны: — гармошка,  
И песен рассыпчатый звон.

---

# Творчество

Л. ЛЮБИМОВА

О, целомудрие немислимой игры  
И неумело-осторожные вопросы,  
Когда космическим, как дальние миры,  
Мне кажется сверканье папиросы.  
И в узкой комнате мерцает Млечный путь -  
И разливается источник жизни.  
Растет в зрачках торжественная муть...  
Источник, взвейся, засверкай и брызни!  
Как неокончен каждый взмах ресниц  
И каждое несказанное слово...  
Калитка. Ключ. Граница всех границ.  
И небо тяжкое от звездного улова.

---

В СБОРНИКЕ УЧАСТВУЮТ: Н. Колоколов, Д. Семеновский, Н. Часов, М. Лукьянов, С. Селянин, Л. Любимова, Мих. Артамонов, Кротков и ЧЛЕНЫ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ—Ав. Ноздрин, Ал. Благов, С. Огурцов, Н. Иванов, Ал. Киселев, Крайнов (Ярославль), Нечваленко, Д. Мозжухин, Виноградов (Владимир), Новожилов, Устинов, Чернышев, Полторацкий (Владимир), К. Завьялов, А. Хренов, М. Шошин, Н. Орлов.

Обложка работы художника И. Колочкова.

## Содержание

	Стр.
1. Ав. НОЗДРИН.—Из истории литературы ткачей . . . . .	3
2. Серафим ОГУРЦОВ.—Весна в корпусах. <i>Стихотворение</i> . . . . .	12
3. Ник. ИВАНОВ.—Хорошо в полях. Корпуса. <i>Стихотворения</i> . . . . .	13
4. Ал. БЛАГОВ.—Песня. Далекие гости. Стансы. <i>Стихотворения</i> . . . . .	14
5. Н. КОЛОКОЛОВ.—Оттепель. <i>Рассказ</i> . . . . .	17
6. Павел НЕЧВАЛЕНКО.—Тебе. <i>Поэма</i> . . . . .	35
7. Дм. СЕМЕНОВСКИЙ.—Два <i>стихотворения</i> . . . . .	37
8. П. КРАЙНОВ.—Утро на болоте. <i>Стихотворение</i> . . . . .	38
9. В. ПОЛТОРАЦКИЙ.—Прелюдия человечьей весны . . . . .	39
10. С. ВИНОГРАДОВ.—Ткем для мира кумачи. <i>Стихотворение</i> . . . . .	46
11. Ал. КИСЕЛЕВ.—Дороги. Сны. <i>Стихотворения</i> . . . . .	47
12. Н. КОЛОКОЛОВ.—Из цикла „Плодородие“. Молодыня. Беременная. <i>Стихотворения</i> . . . . .	49
13. В. НОВОЖИЛОВ.—В город. <i>Стихотворение</i> . . . . .	51
14. Ник. ОРЛОВ.—Ситцевая грусть. <i>Стихотворение</i> . . . . .	52
15. А. ХРЕНОВ.—Порченный. <i>Рассказ</i> . . . . .	53
16. В. УСТИНОВ.—Провинция. Война вещей. <i>Стихотворения</i> . . . . .	59
17. Н. ЧАСОВ.—Осень. <i>Стихотворение</i> . . . . .	61
18. Дм. МОЗЖУХИН.—На заработки. Прошедшее. <i>Стихотворения</i> . . . . .	62
19. Арс. ЧЕРНЫШЕВ.—В своем краю. <i>Стихотворение</i> . . . . .	64
20. Мих. ШОШИН.—Как исчезла с лица земли деревня Слоныха. Дом. Речь Калинина. <i>Рассказы</i> . . . . .	65
21. Сергей СЕЛЯНИН.—Время. <i>Стихотворение</i> . . . . .	72
22. М. ЛУКЬЯНОВ.—Фрески. <i>Стихотворение</i> . . . . .	73
23. М. АРТАМОНОВ.—Курганы. <i>Стихотворение</i> . . . . .	74
24. К. ЗАВЬЯЛОВ.—Персияшка. (Из прошлого быта граверов) . . . . .	75
25. А. КРОТКОВ.—В пути. <i>Стихотворение</i> . . . . .	78
26. Л. ЛЮБИМОВА.—Творчество. <i>Стихотворение</i> . . . . .	79

Редакция „Альманах“ просит читателей  
направлять свои отзывы об „Альманахе“ по  
адресу—Иваново-Вознесенск, Михайловская, 13.  
ИВАПП.

Следующий „Альманах“ выйдет в начале  
1930 года.

ЦЕНА 75 КОП.





